

## П Р О З А

Т. Корвин

О П И Т  
О СВИДЕТЕЛЬСТВЕ

Итальянского священника неожиданно спросил его знакомый:

- Что такое свобода воли?

Он не удивился - умея предвидеть все недоумения, все варианты и варианты вариантов: бессмертия римской церкви в ее исторической памяти. Священник сказал, что ответ как и сам вопрос имеет интерес и смысл лишь в контексте христианства, и если собеседник не...

- Вы не знаете. Я мог изменять убеждения.

- Но вера не есть убеждение.

- А как же у св. Августина "вера - акт интеллектуальный"?

Но научите меня, и я не буду сгибаться термином, как сгибаются дверцы.

- Присутствие Бога иной оттенок дает терминологии.

- Например, обещание Предтечи "я крещу водой - а тот кто придет после меня, будет крестить вас огнем": толкование текста имеет традицию, но и после двухтысячной экзегезы найдется кто-нибудь, для кого огонь так и останется огнем.

Священник заметил собеседнику - так мягко и деликатно! о внушил или сострадание, *pietà*? - что тот может, как путешественник в незнакомой стране, заблудиться.

- Пожалуй, там более обладая в качестве русского неким племенным каначальным импульсом так сказать дерзости, чтобы судить о том чего не смыслит. Свой национальный опыт хорош как нечто корректирующее - но с чужим воляк обращается довольно непринужденно, сказал же в 55 году итальянский политик Пелла итальянскому президенту Гронки: "Боже тебя сохрани стать нашим Керенским!" После этого кто усомнится, что Европа нем дом родной, Италия дом родной, что можем и мы как свои припомнить все Соле иво и Воляре Доменико Модулье - из того же интонационного материала сделанные, что и старинная литургия с латинским текстом. Воляре 60-х годов и

расцвета левого центра! Мне нужен Рим, нужно христианство в его первоуродной католической интерпретации, я отправляюсь в путь, располагая для начала двумя суждениями: об Италии — что это страна нескончаемых страстей и непрочных структур; и о христианстве — что идеальные ценности слишком хрупки посреди реального мира, который так быстро меняется... — и собеседник признался, что изучает римскую весну 78 года, роман в письмах между человеком и государством, со скандальными подробностями, взаимными оскорблениями и плохими концами. Все это с трудом поддается толкованию, нужны консультанты — философ, экономист, лингвист и прежде и более всего христианин.

Священник сказал, что толкователь следует братья за дело серьезно.

— Конечно. Государство отказалось вести переговоры с террористами, заложник был расстрелян — в 78 году это было хроникой, теперь поднялось на уровень истории. Что может быть серьезнее Истории?

— Не знаю, возможно — миф. Тут есть некоторый материал для мифа.

У священника профессиональный навык реальность синхронно переживать как миф, для него оба в любую минуту взаимнообратимы. Толкователь это доступно лишь *a posteriori* и уровнем ниже: не миф, но слух, легенда, сплетня. Например, переписка апостола Павла и Сенеки, вымысел, в который однако верил бл. Августин. О Наполеоне после Реставрации говорили, что он был трус и звали его Николая, а в учебнике истории писали, что маркиз де Буонапарте храбрый полководец Людовика 18-го. В предельном случае Наполеон вовсе не существовал: это только вариант солнечного мифа. Мифобразна Французская революция, в этом предчувствии сочинил Руссо персонаж по имени Всеобщая воля. Далее, убийство Цезаря — исторический факт и потенциальный миф уже в момент его совершения, с имманентной потребностью восхождения в мифу, оттого и назвала легенда — /сплетня/ Брута сыном Цезаря. Весной 78 года легенды и слухи возникли синхронно с событиями и даже опережая: в 8.15 утра 16 марта радиокомментатор предсказал нападение на виа Ф.;

накануне слепой старик в Сене слышал на улице шепот по-арабски, потом по-итальянски на диалекте; то-то и то-то произойдет в ближайшие дни, сказал какой-то студент 10 марта. Наконец вутна 66 года под названием "Боже храни премьера"... ибо он не огражден от покушений. Допустим, в дом нападения не могут проникнуть, таково расположение входа, что охрана увидит издали; но есть более удобные места и моменты. Премьер человек весьма методичный, день его строго расписан, из дому он выходит всегда в один и тот же час, в 8.30, и оба авто /во втором охрана/ отправляются ровно в 8.31. Каждое утро он слушает мессу в церкви Сан Франческо или в церкви Санта Кьяра - в первом случае, проехав виа форте Трионфали, следует на площадь Монте Гаудио, во втором поворачивает налево на виа Ф. и далее на Кампаучча, - и так неизменно, каждое утро минута в минуту проезжает по улицем кортеж. Обыкатели, взглянув в окно, проверяют часы, как некогда по Иммануилу Канту. И это чрезвычайно благоприятствует предполагаемым злоумышленникам. Бросить ли на виа форте Трионфали ручную бомбу под автомобиль... или применить огнемет на перекрестке... - вутник наверно не одно утро провел в наблюдениях, так хорошо изучил он привычки премьера 66 года. Прошло 12 лет - привычки не переменились: путь 16 марта был второй из описанных случаев.

А далее пошли непредвиденные импровизации. В апреле незадолго до конца директору большой радиостанции вдруг сказали: "хотите интервью..." Вот так прямо на улице незнакомец подошел и сказал: "А не хотите ли - я вам устрою интервью?" "С похищенным? С пленником террористов?" "Если я говорю - я знаю что говорю..." Эту фразу потом часто повторяли: для финального акта /т.е. расстрела/ его передали в руки обвиненным уголовникам: я очень хорошо знаю, что говорю. "Что я должен делать? - кричал в досаде комиссар полиции. - Твердят об иностранном заговоре, все так хорошо знают, что был иностранный заговор, так что ж мне по вашему ехать в Америку? в Москву, в Вонг?" Стратегу исторического компромисса американцы могли желать смерти - что-бы участие коммунистов не испортило демократию, русские -

чтобы участие в демократии не испортило коммунистов; коллеги по партии тоже могли желать ему смерти — из зависти, — не умея простить интеллектуального превосходства. Террористы — те высказались совершенно ясно: "После своего достойного собеседника Де Гаспери он авторитетнейший иерарх и беспопорный теоретик того демократического режима, который 30 лет угнетает народ Италии. Этот режим, эта партия — национальный филиал грандиозного мирового контрреволюционного центра, чьи преступления превосходят все, что когда-либо знало человечество." Поэтому они предали его суду народа и установили: "Ответственность подсудимого равна ответственности государства, которое тоже находится под судом. Вина его та же, что и всей Христианской демократии и режима, которые будут окончательно разбиты, сметены и рассеяны силами боевого революционного авангарда. Его виновность не подлежит сомнению, и потому он приговорен к смерти. 14 апреля 1978 года."

Земная оппозиционная партия тоже, по слухам, желала ему смерти: чтобы кровью скрепить исторический компромисс. Социалисты, правда, были за переговоры с террористами и твердили "спасти любой ценой!" — но ведь как сказать, они тоже могли желать ему смерти, например из ревности к коммунистам, с которыми если бы сблизилась Христианская демократия, то Социалистическая партия осталась бы не у дел. Не из этой ли ревности потонули социалисты его правительстве в ночь под новый 76 год?

Еще его ненавидели масоны. И монтеперос, террористы из Латинской Америки, заявили: "Наши итальянские товарищи наконец-то наказали старого прислужника империализма." В конце концов на Борромейских только островах и в Австралии два-три аборигена, которым все равно, не имели резонно желать ему смерти. Но тогда как земля его носила так долго.

"Смысл истории есть смысл личной истории отдельного человека. Не личная история обретает смысл в истории универсальной, а наоборот." /Микеле Макка/. Герой эпистолярно-

го романа 78 года был другом молодости папы Павла Шестого и в нем обрел ходатая и заступника: 22 апреля Святой Отец написал террористам собственноручное письмо /автограф воспроизвела вся пресса/: во имя Христово, во имя всечеловеческого братства и социального прогресса молю вас клянипреклоненно, возвратите пленнику свободу, верните его семье и жизни. Свой друг вности был у террориста номер один, и тоже обратился с ходатайством: "во имя старой дружбы и солидарности - хотя и разорванной в аспекте политическом непреодолимым теоретико-практическим расхождением, но никогда не отрицаемой в плане человеческом как часть нашей личной истории, - прошу тебя, если пленник жив еще, подтвердить его право на жизнь и содействовать каким бы то ни было образом, указать какой бы то ни было возможный путь к его освобождению". Как у Данте низ внезапно оказывается верхом - и наоборот. Первый террорист несколько лет как сидел в тюрьме, в те дни его судили - но в качестве первого он имел моральную власть над вторым, который и был властен в жизни и смерти пленника. Одно слово Ренато Курчо спасло бы друга Витторе Бранки, Габриэле де Роза, кардинала Пеллегрини и Святого Отца, и старый друг просил его об этом на языке людей одного круга - но ему уже надоели ходатайства. С ним вел переговоры его адвокат, к нему в камеру приходила киноактрису /очевидно, не ту: вдруг бы у Софи Лорен получилось!/: в конце концов он запретил чтобы с ним об этом говорили.

Впрочем, Святой Отец или первый террорист - в обоих случаях трансцендентное вмешательство, *deus ex machina*. Исход дела решали государственные деятели и их антагонисты, деятели террора. Вот групповой портрет государственных людей /по-итальянски - статистов/, парафраз репортажа 82 года: у первого стиль барочный, отдаленный церковной риторикой, он высокомерен, он властен и мудрствует лукаво. Вторым отчасти интеллигент - но не из злокозненных; он как дома в лабиринтах государственного аппарата, и в Ватикане был свой, пока там говорили по-итальянски; когда доходит до грязной работы вызывать кредиты - у него есть подручный.

Третий статист — честный доктор-провинциал со славным и далеким прошлым участника Сопротивления, свой долг политика видит исключительно в том чтоб из политики не извлекать личной выгоды. Четвертый тоже из провинции — и в Риме ему неуютно, он утешается должностью Президента Всемирной Ассоциации Провинциалов. Пятый статист: тонкая штучка, интеллект, но его связи ему вяжут руки, он связан со всеми течениями внутри партии... Наконец шестой, который вечно в сомнениях и в страхе перед риском и распятой, и седьмой — технократ-интеграл, который думает по-английски. Христианские демократы разделяются на *interni*, *esterni*, *eterni* /внутренних, внешних, вечных/...

Это достойно /модернизированного/ Лазрифера. Вечные те же, кто внушил в 74 году отвращение Поэту, когда он увидел их всех вместе в каком-то телевизионном шоу. "Эти старые люди, — писал он, хотя тогда они были на 8 лет моложе; занятно, что сам Поэт в 47-летнем возрасте был студентами-совместак как безнадёжный старик: был алогей Контестации. — Эти старики, они верны себе как одержимые, они ни слова не скажут о том, чем все живые люди живут — словно они 30 лет пребывали в некоем концентрационном универсуме. Они пропитались властью, во власть превратилась сама их плоть — но в самой их власти что-то мертвое." И годом позже: "Они в прекрасном настроении и продолжают улыбаться всем напоказ. Их глаза сияют светом истины и благодати — а то подмигнут так лукаво, так пронзительно, что избиратели приходят в восторг. Им кажется, что они властвуют — но они утратили реальную власть, это маски: если снять их, не найдешь даже груды костей и горсти праха: ничего, пустота. Их речи непостижимы как латынь. Их режим хуже фашистского: тот, будучи откровенным насильем, по крайней мере побуждал к сопротивлению..." x)

Таков приговор Поэта. Если слово может воплотиться — оно материализуется по всей компании в хорошую автоматную очередь. Протагонист 78 года, следовательно, получил по заслугам, по тяжести в миллион тонн исторической ответст-

x) Т.е. "лоси" хуже "львов" по делению Парето.



венности, которую на него налагали и интеллектуалы, и антагонисты. И сам он своей ответственности не отрицал.

Толкователь, пытающийся пересказать эту старую историю, должен признаться: антагонисты /террористы/ у него не вызывают возмущения. Вообще никаких чувств: как некая природная сила, как трава или куст, что растет из скалы и тем ее разламывает; как то, что никогда не кончается, а только меняет обличья. Более того, услышав однажды "не могу жалеть террористов!" /схваченных, убитых, осужденных/, толкователь подумал: зачем уж так-то. 3-ий антагонист, в 82 году после ареста кающийся и даже суперкающийся, хотя из кающихся не первый, называл имена, сообщал подробности, описывал структуру организации, — однажды начав каяться до конца; каков бы ни был его расчет и намерение, бедный мальчик не предвидел, что сделается игрушкой, что ему отвечать придется не только следователям и судьям, но и членам парламентской комиссии, и чуть ли не любому должностному лицу, и каждый из любопытства и тщеславия будет спрашивать одно и то же и на свой вкус добавлять еще тысячу мелких вопросов. От этой пытки избавили себя непреклонные, *irriducibili*

— Объясните нам, почему ваша организация избрала объектом именно этого политического деятеля? Именно его партию?

— Но... я уже объяснял это!.. Потому что он был представитель высшего уровня политического персонала, стоял выше течений и следовательно способен был разрешить противоречия внутри демокристланской клики... а эта партия и есть государство.

— Скажите, а почему та красная Рейн была так плохо вышита?

— Какое это имеет значение? Вернемся к делу...

Давать показания он считал своим нынешним делом — и делал с тем же рвением, как прежде герилью. Он не предавал и от себя как борца с властью и государством не отрекался: не покаянием это следовало назвать, а признанием: в том, что террор, герилья были ошибкой, что структура организа-

ции имела такой имманентный порок как лидерство /и борьба за лидерство подменяла борьбу подлинную/, а также вела к изволяции; гершель не смогла стать массовой из-за неизбежно высокого уровня конспирации. Это и многое другое он пытался объяснить на суде, и когда его не понимали, терял терпение: "Поймите, что терроризм это микрокосм, *fatto di valogli-di-  
vessì* Внутренний механизм организации может казаться стран-  
ным, но в него следует вникнуть!" "Я говорю правду, - пов-  
торял он и настаивал, - и делаю это не в расчете на побряк-  
ки, на закон о раскаявшихся, но потому что хочу чтобы мно-  
гие, кто еще находится внутри гершель, из нее вышли. А еще-  
чтоб обрести личное достоинство."

Ему было 24 года в 78-м, когда ему приказали отвезти на виа К. знаменитую грязную Рано с историческим багажни-  
ком, и он не знал зачем и только потом понял, когда ее по-  
казали по ТВ. В 81 году после ареста второго антагониста  
он вышел в лидеры, и теперь на суде не унизился до того,  
чтоб грязью обливать бывших товарищей. Он терпел молчали-  
вое презрение 2 антагониста и говорил о нем с иезитом.

Возможно, антагонисты лишь нечто производное от госу-  
дарства. Они могут быть отвратительны по причинам технико-  
эстетическим, когда не умеют делать дело, за которое берут-  
ся. У террористов отечественных самодельные бомбы то не  
взрывались, то еще хуже взрывались не тогда и не там, уби-  
вали не причастных, убивали ребенка, лошадь. А когда нако-  
нец у них получилось, то царя они убили не того, не тирана,  
а реформатора. Так ищут историкки; но если миссия Александра  
Освободителя была сделать Россию государством как все про-  
чие, то может быть контрмиссия народовольцев была этому  
помешать - чтобы Россия оставалась грандиозным отрицатель-  
ным примером.

В Италии работа была чистая. Только один из пяти ох-  
ранников 16 марта успел вскочить из машины /убитый, он  
потом лежал посреди улицы и чьи-то милосердные руки покрыли  
его простыней/; остальных застреляли на месте. Стреляли -  
из восьми две женщины - попадая в того кого надо на рассто-  
янии не более метра от того в кого нельзя попасть, а надо

взять живым и по возможности невредимым. Это один из немаловажных, если не единственный в истории пример технического совершенства: стоит только поддаться соблазну судить о качестве идеи по качеству тех, кто ей служит, и преимущество сравнительно с государством будет на стороне антагонистов. Поздней полиция усовершенствовалась и постепенно взяла верх; антагонисты шли на смерть за идеи, несли потери убитыми и ранеными, а будучи схвачены, держались с великодушным презрением. Не полиция раскрывала их тайны, а они сами — те, кто покаялся. Но кающихся было совсем немного.

Впрочем, так им и приходится. Это этикет и традиция, не роль даже, но вынужденная, это соответствует призыву карбонариев /которую договорив до конца, Байрон, по легенде, взял с алтаря ветку цветущей акации, что означало высшее обязательство: убивать монархов. И Байрон, а не Китс был английским всемирный поэт, а первым всемирным русским поэтом стал Маяковский и остается доныне: есть совсем недавний парадокс в том, что коммунизм есть мажорность и безумное счастье. Между тем понадобился в посреднике гений, чтобы ввести в оборот Джона Донна/. Антагонистов звали в 68 году контестацей, потом внепарламентской оппозицией, а когда они взяли за оружие, начали звать террористами и организованной преступностью; существует также корректное наименование Партия арматов, Вооруженная партия. Они назывались "Молодая Италия" при Мадзини, и тоже имели два уровня, подпольный и легальный, точнее журнальный: предвосхищение "тесери Калоджеро". Стендаль, прочтя секретные судебные протоколы 17 века, заключил: "В 1600 году разбойники были единственно возможной оппозицией правительству." Итальянские историки изобразили их бандитами — это фальсификация, говорит Стендаль: разбойники были политическими деятелями и на судах произносили политические речи. В 1830 году папа Пий 8-й боялся похищения и не участвовал в праздничной процессии; в списке предполагаемых жертв нынешних антагонистов был папа Монтини. Стендаль писал, что разбойников долго не может поймать полиция: народ за них, крестьяне за них, де-

вверху лестно быть невестой разбойника. Эмилия Либера, раненная, сумела уйти от полиции и долго скрывалась, потому что не нашлось кому ее прятать; она была арестована только при большом разгроме 82 года. Параллель можно продолжить: Савонарола, антагонист Медичи и Святого Отца, имел тысячи приверженцев: увидеть сходство мешает эстетика: Савонарола — и Ренато Курчо! Баррон — и Марио Моретти! полезет ли Наполеон...

Они обладали дурными добродетелями, их миссия — самозванство. Данте приравнял Брута и Кассия к Иуде — Данте следовал традиции, но другая традиция была сильнее, и мессер Донато однажды сказал Микельанджело:

— Данте совершил величайшую ошибку, поместив Брута и Кассия в Ад и в пастях Люцифера за то, что они убили Цезаря. Он не знал, что не имел представления об истории и не знал, что Цезарь был тираном их отечества. Во-вторых, он показал, что ему неизвестно общее согласие людей, которые в один голос восхваляют, чтут и превозносят тех, кто убивает тиранов ради освобождения родины. К тому же он показал, что не ведает о том, что законы во всем мире сулят величайшие и почтеннейшие награды, а стыд не позорнейшие казни тем, кто уничтожает тиранов...

Микельанджело отвечает:

— Вы не понимаете Данте.

— Я понимаю только одно, что он поместил Брута и Кассия в пастях Люцифера, а я хотел бы их видеть в санях почтеннейшей части Рая.

— То, что Брут и Кассий действительно заслуживают те похвалы, которые весь мир им расточает, я разделяю это с вами. Данте же стыд не заслуживает того, чтоб о нем так отзывались, осуждая его в той мере, в какой вы это делали.

— Вы утверждаете две вещи, противоречащие друг другу. С одной стороны вы полагаете, что те двое заслуженно восхваляются и почитаются, с другой — вы против того, чтоб и порицал Данте, который их осудил.

Защита Микельанджело кажется странной. Сперва он говорит, что тиран дикий зверь, а не человек, и потому не

грех убить тирана; что каждый римский гражданин может и должен убить тирана по предписанию закона; а далее умнейший, ученейший Микельанджело, великий поэт, ничего не находит убедительней как предположить: а вдруг бы Цезарь, пресытившись властью, добровольно отстрекся, вернул бы свободу отечеству и преобразовал государство. Этих предполагаемых благ Брут и Кассий лишили Рим: итак, Данте прав.

— Тем более, — продолжает Микельанджело, — что меня всегда огорчали и беспокоили иные люди, воображающие, что невозможно принести добро иначе, как начав со зла, то есть со смертей; и не думающие о том, что времена меняются, что рождаются иные обстоятельства, что желания обновляются и что люди утомляются — и таким образом очень часто вопреки надеждам, помимо действий отдельных людей и без опасности для их жизни и рождается то добро, о котором всегда мечтали. Или во времена Суллы многие мечтали о свободе Рима и об убийстве Суллы? Но когда увидели, что Сулла добровольно отказался от диктатуры и восстановил свободу, неужели вы думаете, что они не испытали величайшую радость? И вселенски не осуждали прежнюю свою чечту об убийстве Суллы? Если б и Цезарь, оставшись в живых, сделал бы то, что сделал Сулла...

— Итак, вы закончили вашу проповедь? — спрашивает мессер Донато. — Конечно, она очень хороша и достойна того чтоб ее записали золотыми буквами. Без сомнения я не премину поместить ее в книжце, которую составлю из нашей сегодняшней беседы. А сейчас войдем в дом, ибо мы уже у дверей и уже вечер; ведь я вообще не намерен отвечать на всю вашу болтовню о Бруте, Кассии и Цезаре... В особенности потому, что вижу, как остальные над нами смеются." /перевод Габричевского /

Ексцир не сделал Брута негодяем. Корж Занд взяла себе имя террориста, Пушкин написал "Урок царям" на портрете убийцы Лувеля, Матвеев боготворил Робеспьера. Кортасар написал о "Граме" и Сьерра-Маэстре в интонации угодования Христу и 12 апостолам. Чезаре Дзаваттини в 60-м году поехал на Кубу: "Я старик, а они мальчешки, эти возди револю-

ции, у меня дети старше... И вообще если человек двадцать лет живет в Риме, он делается себе на уме". Он был настроен скептически, но смотрели его глаза, слушали уши, все пять чувств работали — и вот итог: — он ловил себя на мысли — а где бы у нас это могло начаться? В Аппенинах? на островах, на Везувии?..

Предать анафеме террористов своих современников значит проклясть интеллектуала графа Конфалоньери. И русских декабристов, которых царубийство почитали актом высшей нравственности — что звучит почти дословной цитатой из первого антагониста с 9-м мая 78 года: "это акт высшей справедливости в этом лишенном справедливости мире." Проклять не только Робеспьера, но и философа маркиза Кондорсе, а заодно почему б не Руссо. Нужно проклять принципы; нужно, чтоб 1978 год восстал на 1789.

Толкователь не забывает, что тотальная анафема революции была уже, и стократ убедительнейшая немалая у Микельанджело. Но разве уничтожила она традицию? — ничуть не бивало. И как оказаться заодно с Меттернихом, с Николаем 1-м, с Кобленце с герцогом Брауншвейгским, заодно с полицией, сендестами и другими традиционно неприятными персонажами? Отрицать не велит — как эстетическое чувство не позволило Леоксону рот раскрыть для крика.

Толкователь обнаружил любопытнейший феномен. Переводя тексты антагонистов, советуясь с консультантом-переводчицей, он был смущен многочисленными "пролетариат", "империализм", "буржуазия", в отечественном языке контексте они звучали односно, комментарно, мешали честной игре ни за ни против кого-либо из персонажей. Обратились за советом к философу. "Вся Европа, вся европейская левая такие слова читает однозначно, — сказал он, — почему я должен иначе? Национальный опыт? Я не желаю знать о каком национальном опыте. Если национальный опыт Бродвей, то я оф — Бродвей национального опыта. Факты не могут быть ни доказательством ни опровержением истины, учит Гуссерль, — или вы детерминизм хотите спустить с цепи, законы истории, — дескать, 10 раз так получалось, значит непременно и 11-ый? Я объявляю наци-

ональный опыт — для себя — несуществующим. Верней так: как тот еврей у Боккаччо, который обратился в христианство после того как поглядел нравы и обычаи папского Рима: "уж если христианство существует несмотря на такой разврат и неверие, то оно доподлинно истинное учение". Я нормальный европейский левый и произношу слова "империализм, буржуазное государство, революция" в нормальном европейски-левом значении. Кстати, та тотальная афера революции, на которую вы ссылаетесь, была провозглашена в предчувствии утраты: все Вехи покрывает один стих Ахматовой 915 года: "думали — бедные мы, нету у нас ничего, а как стали терять одно за другим..." Любовь к Белому царю у отца Сергея Булгакова, даже у Цветаевой это же некрофилья, хвалебное слово покойнику, которого при жизни едва терпели. Эта любовь не имеет онтологической достоверности. Повторяю: я европейский левый — я, не пригубивший парламентских дебатов, газетной полемики, которые там давно опустытели, я, пожизненно отдать готовый за то, чтоб войти в Сорбонну, в Миланский католический университет с обнаженной головой и благоговейно слушать профессора, с высокой кафедры говорящего, — я нормальный, до ужаса нормальный европейский левый, читал евангелие от Сартра и Маркузе и так далее, и отождествляю власть с властью. Вы говорили об историческом опыте — а я вам о другом историческом опыте: они это все прошли и вышли в контестацию, в террор, — эрго, и со мной бы было так; ну так я скачком перескочу эту стадию, пусть хоть раз исторический опыт кого-нибудь чему-нибудь научит. А же не то что вы, вы же вам хочется конституции, потому что без нее вам не получить — сверженьи с хреном, — я иду дальше того и другой и отождествляю власть с властью. Власть с властью — понятно? И когда террористы стреляют в власть, они это делают и от всего имени. И не говорите это пресловутое "посмотрите-де на них, когда они придут к власти": они не придут к власти. Они обречены в начале замысла — и это самое замечательное. Это и есть приманка". И он добавил мечтательно: "Я хорошо знаю, чем бы я там занимался. Я был бы мелким левым журналистом, именно мелким, и о наслажденном. С этого я бы начал, а потом..."

Где здесь свобода воли?

Что я отвечу, если спросят: "где прошлогодний снег?"

Впрочем, у него несколько вымученно звучало его "верую потому что абсурдно", и до настоящего европейского левого он не дорос. Той грани не было, которую переступали отвергая государство и особенно правовой принцип в их пластической форме, в ритуально-музыкальной: кощунство есть акт религиозный.

Ему не пришлось бы мучиться дилеммой, например, — переговоры или отказ от переговоров с террористами. Правовое сознание у него ступило не на уровне рефлекса, вместо правосознания имеется рефлекторный ответ-цитата: "Мне стыдно и за водам". Возможно, это более логично: если антагонисты самовольно присвоили право везать и разрешать, право, принадлежащее правовым институтам — то сами эти правовые институты узурпировали право Бога. Видимо, не остается ничего кроме итальянской формулы-78: "ни с террористами, ни с государством". На Авентинский холм удаляются массово и организованно; кошка гуляет сама по себе.

В 1944 году итальянские партизаны приговорили и предали смерти Джованни Джентиле. У Муссолини он был министр и официальный философ /в рассуждении философии грех против Джентиле не меньший, нежели в соответствующем масштабе против Ницше и Маркса/. Принцип законности был нарушен — но если б Ницше попался лагерникам в первые полчаса после их освобождения, его бы растерзали, растоптали, растерли. Как обошлись бы с Ницше нюрнбергские судьи? Нарушение принципа законности оправдывает несравненная формула: на то и война, т.е. особое психофизическое состояние, которое... эффект? *crime passionnelle*? Нет, но война, которая вовсе не бегает босая и голая без всяких правовых норм, а регулируется законами военного времени.

Наше рассуждение вступает в новую фазу.

Слово "война" повторяли антагонисты на процессе 62-63 годов. "Единственно возможное отношение между вами и нами — война", говорили они судьям, и то же писали в коммюнике 16 марта 78 года: "единственное отношение между



сражающимися революционерами и спецтрибуналами - война". "Атака", писали они, "наступление", "битва". Арестованные называли себя военнопленными.

В первом письме /публикация 29 марта, на 14 день/ про-  
тагонист 78 года писал, разумея свое положение:

- Таковы превратности герильи, которые следует рас-  
сматривать хладнокровно, без эмоций, как политический факт?

- Факты такого рода - это факты подлинной герильи,  
которые требуют иного отношения нежели обычные уголовные  
преступления..." /10 апреля/.

В наконец 24 апреля:

- Должно быть ясно, что - политически - речь идет не  
о сострадании человеческом /*pietà umana*, хотя и это важ-  
ная побудительная причина, - но об обмене военнопленных,  
*riduzione di guerra* или *guerra di guerra*, как угодно, -  
как практикуется в странах в высшей степени цивилизован-  
ных всегда и всюду, когда производят обмен не только по  
объективным соображениям гуманности, но для спасения жизни  
невзвешенных людей. Или в Италии другие законы?.."

По официальной версии пленник писал по принуждению, -  
по вынуждению, под ежедневной нравственной пыткой, под дей-  
ствием наркотиков, препаратов затуманивающих сознание, ослаб-  
ляющих волю. Сам автор писем все это отрицал, чем дальше,  
тем настойчивей и наконец оскорбленно и еще гневно. Посмерт-  
ная экспертиза подтвердила: не было насилия, не было нарко-  
тиков. Толкователь не думает, что антагонисты заставили  
его назвать войной войну их с государством. Толкователь  
верит его словам, что все письма написаны в ясности разума  
и свободе духа и согласно прежней логике и терминологии.  
В 77 году на пороге его офиса на виа Савоя напали на жур-  
налиста, позже другой журналист был убит; если верить свиде-  
телям, он говорил тогда: "это начало войны" и "мы живем  
как в катакомбах."

На виа Ф. 16 марта случайный очевидец навеки запом-  
нил ту мгновенную византию. "Это было как война, - гово-  
рил он на процессе 82 года, - 90-120 секунд огня, автомат-  
ные очереди, вынужденные на бегу... сталкиваются с ними авто-

мобиль и другой с номером дипломатического корпуса /этот украденный автомобиль террористы бросили на месте/... на тротуаре появляются четверо в летной форме Аэлиталии /в тот же день видели как переодевался в гражданское один из террористов, его опознали/; из второго авто выскакивают двое — и стервят огонь, другие вступают в перестрелку с расстояния 30 метров в того охранника, который вырвавшись из машины успел сделать несколько ответных выстрелов... Двое перетянули волском добычу из синего автомобиля в свой. И сейчас же все улетучились."

Этот несчастный четыре года спустя не может опомниться. Он потерял работу, он лечится у психиатра. Ему звонят по телефону и угрожают. Судья просит его взглянуть на подсудимых, опознать их — он млеет, уклоняется: "Вы должны меня понять..." и добавляет: "один мне кого-то напомнил, какого-то актера, как его — их да, Де Физиппо!"

Но именно воины не желали признать государство, т.е. состояния войны и статуса равной воюющей стороны за антагонистами. Наполеон называл испанских гвэрильяос бандитами и оборванцами и находился с ними в состоянии войны де-факто — не признавая этого де-юре. Спор был о терминах: когда генерал Дивон, окруженный при Байлене, подписал КАПИТУЛЯЦИЮ, Наполеон возмутился: "есть вещи, которые не пишут!"

Спор шел о терминах, и протагонист в письмах поучал государство, преподавал государству курс лекций о законах военного времени — как читал студентам-правоведам со своей профессорской кафедры в Римском университете, терпеливо, с академической интонацией: "Там, где идет война, практикуется обмен военнопленных..."

И чем это было если не войной. С чередующейся удачей или со счетом как в матче: 1:0 — весна 78-го, 1:1 — аресты в 79-м и 81-м почти всех участников 16 марта; 1:2 весной 80-го, когда покаялся первый Великий Каздидья и начал называть имена, и только тогда узнали, что арестованные — участники 16 марта — участники 16 марта; 2:2 — захват генерала Дошера и через 42 дня сразу, пожалуй, 2:4 — освобождение генерала Дошера генералом Даме Кьеза, оглуши-

тельный разгром и новое покаяние; месть генералу Далле Кьеза осенью 82 года. — 3:4. Далее новье арести, в ЕЗ-ей поимана даже сверхбеглая Сузанна Ронкони, которую однажды уже арестовали, но коллеги с воли для нее взрывом продавали дыру в тюремной стене.

Дело в терминах. Антагонисты говорят "война" и "абсолютная вражда", или чаще всего "борьба". "Борьба", однако, есть термин неопределенный, недотермин, потому и меняет имя: война. Но война внутри государства не может быть ничем иным кроме террора / "ползучая гражданская война", цитируя коммунике 78 года/. Твердят "борьба", а конкретно — террор. "На языке слов нам нечего больше сказать Христианской демократии, ее правительству и сообщникам. Единственный язык, который они способны понять — они это показали — есть язык оружия. В этом языке пролетариат овладевает..." /Пятница 5 мая 78 года./

Протагонист свою жизнь мог защищать только словом. Как Орфей, ему в аду надлежало укротить фурий, — "человек, попавший в реку к крокодилам, не должен рассчитывать на свое интеллектуальное и духовное превосходство", говорит Хью Ситон-Уотсон. Орфей был гений, поэт и музыкант, а протагонист всего только помятик: это пародия на мир об Орфее. Он даже своих не сумел убедить — своих, кого заклинал о таком красноречием и несокрушимой логикой юриста и соавтора республиканской конституции, своих друзей, к которым обращался на "ты" и "дорогой" и добавлял: "Господь да просветит тебя и всех вас... не медлите, это необходимо." Он не смог их убедить, хотя говорил на одном с ними языке, надеясь на понимание с полуслова: у Ясперса на четвертом коммунистическом уровне так беседуют близкие люди о последних вопросах — жизни и смерти. Можно вообразить собеседниками Аристотеля, св.Тому и Маркса; согласно Витторе Бранке Петрарка искал и находил тождество душ у Цицерона и бл.Августина и сумел примирить языческую культуру с христианством; Петрарка обращался в письмах к Цицерону — и тот его отлично понимал, поскольку этот Цицерон был творением самого Петрарки. Меж тем президент суда над антагонистами в 82

году с ними с трудом объяснялся:

- С этими товарищами у нас тогда не было контакта, потому что они были заморожены, - говорит антагонист.

- Заморожены?!

- Ну да, исключены из активных действий, для безопасности...ности...

- Скажите, почему вы, похитив тот автомобиль, воспользовались им не сразу?

- Потому что он не был еще удвоен.

- Не был - что?

- Удвоен... то есть не был подготовлен второй комплект документов...

Государство не желало признавать, что борьба идет на уровне войны; ближайший коллега протагониста не соглашался даже с его более осторожным определением *emergency*, чрезвычайное, особое положение. " *Estado in emergency, pero a emergente* -

*oza* - признавался один, "верю" - очевидно в том смысле, что опасность поможет ускорить процесс принятия решения, "верю-и боюсь"; другой отвечал: "нет в Италии *emergency*, это штука вроде арабского Феникса, всяк о нем упоминает, где найти - никто не знает".

Поэтому государство решило не уступать, держаться непримиримо, непреклонно.

Держаться пришлось долго.

24 апреля на площади дель Джезу, где имеет пребывание Христианская демократия, стояла толпа /туда часто приходили, ожидая известий/, в толпе разговаривали:

- Убьют они его или отпустят?

- Если он вернется живым и невредимым...

- А зачем им отпустить?

- А зачем убивать. Мы сорок дней живем заперев двери: они своего добились...

Сорок дней - оставалось не так много и не так мало, пятнадцать; к тому дню все уже слегка помешались, застыли в непреклонности, затвердели в твердости, которая была начисто десинтологизирована, но именно потому и тем более всевластна: в силу собственной имманенции она владела ими, а

не они ее решали - она уже порешила их, и государство, и антагонистов, хотя у тех и других споры еще продолжались.

Например Автономия - Пизерно и Моруччи с Адрианой Фарандой спорили с Моретти, Галлинарди, Эмилией Либерой и другими, настаивая, что нельзя приводить смертный приговор в исполнение, что государство усилит репрессии и "уровень борьбы сделает организацию неживаемой"; причем если остальные только так сказать пристроились в общий пирогу - даже Прима Линаса пожелала участвовать и передала свой список вопросов к пленному, - то Фаранда могла говорить с Моретти на равных, потому что 16 марта была и стреляла на виа Ф.; и после 9 мая произойдет раскол, Моруччи и Фаранда выйдут из организации, забрав свою собственность - знаменитый автомат Скорпион, орудие казни /этот Скорпион достоин сделаться музейным экспонатом вместе с грязной красной Рено/. Но прежде дисциплины ради, а также довершая начатое, Моруччи позвонит по телефону профессору-юристу, университетскому ассистенту расстрелянного - чтобы тот во исполнение его последней воли сообщил семье, куда предать. Сообщить именно семье - потому что в гневе и боли смертник не хотел, чтобы чужая рука его коснулась и тем более чтобы государство завладело им и разыграло комедию государственных похорон и национального траура. Моруччи честно и бескорыстно втолковывал собеседнику точное место - но первой туда явилась все-таки полиция. Через год там пределяли мемориальную доску.

А 31 мая 79 года Моруччи арестовали вместе с Фарандой и Скорпионом, и все торжествовали: "тот самый!": это был уникальный автомат, так что хотя экспертиза и сумела опознать пули, но когда бедная итальянская полиция хотела по примеру американской после Кеннеди моделировать убийство стреляя в чучело, то такого Скорпиона у нее не вышло и применили что-то другое. И поскольку в 79-м еще не было известно, кто стрелял - Первый Канцисси еще не начал называть имена, а Фаранду взяли со Скорпионом в руках /"она достала из сумки что-то, мне показалось - зонтик", рассказывал раненый полицейский/, то и предположили логично, что

она была убийцей. В самом деле, пули были из автомата и еще из пистолета: зачем? Быть может из автомата стреляла женщина, у нее нехватило физической силы, и дело пришлось довершать пистолетным выстрелом? Позже узнали, что было наоборот и что тут была допущена почти единственная во всей этой истории техническая погрешность.

Какой фильм сделал бы Поэт из римской весны 78 года! После Меден и Чесера, после Бвайгалия и 1001 ночи — после Акватоне и Мами Роми — сутенера, Бога, царя, проститутки, поэзии возвышения над бытовым уровнем и спуска ниже бытового уровня, после уличного жаргона и проповеди; но какую черту поэзии можно выжать из прозаичнейшего материала газет и телевизоров, пиджаков и галстуков, из профессионального политика, т.е. самой в мире антиэстетической фигуры, с добродетелями чисто негативными, например неземственность в скандальных связях и коррупции? Какую пластическую красоту сравнительно с ренессансными Снятиями со креста, Оплакиваниями, *Pietà*, с обнаженными телами и игрой мускулов или складками длинных одеяний — какую пластическую красоту можно извлечь из багажников Рено, тут нет и антикрасоты, эстетизированного безобразия а ля Бодлер и далее. Что сделал бы Поэт, путем каких тайн съемочной техники или монтажа совершил бы космическое превращение виа К. в Голгофу, а санитарного авто, раздвигающего толпу, в коней Люкаллиенса. Если б фильм был сделан, он протагонисту принес бы бессмертия; но более вероятно, что Поэт предпочел бы вмешаться в события. Фантазия увлекает толкователя: Поэт на баррикаде, сложенной из обломков Млечного Пути, Поэт в ивже *luciole* и с кометой в руке, — но в чью пользу было бы вмешательство? Вряд ли в пользу пленника, и разумеется не государства и с уверенностью можно сказать, что не в пользу антагонистов. Поэт был космическим явлением: если б слово хоть раз обрело бы реальную силу, он свел бы на сверке созвездие Г<sub>0</sub>ничих Псов на пьядца дель Дзезу; впрочем, очевидцы только и сказали бы: вот первоклассный хапченнг.

На пьядца дель Дзезу или в палаццо Киджи или в Монтеччitorio и где б еще ни обитали все те маски, прикрывающие

пустоту, — персонажи, изображенные на 3-м групповом портрете.

Н., без скорбей скорбящий, озабоченный без забот и бесстрастно страстный, бледная тень, худший секретарь, какого-нибудь когда-либо имела Христианская демократия. Н., чья непостижимая любовь всегда завершается ненавистью; он вечно делает не то и будет вечно делать не то, и не по злобе, а потому что он так устроен. Что сказать об Н., он всезнающ и у него лице иезуита, — но зная все, он ничего не знает о любви и жизни. О вас, Н.? О том как вы благодарили меня и клялись в верности... Кто еще — Н.? О нем ничего. Не буду говорить о второстепенных фигурах, которые не стоят слов. Все вы там были, экс-друзья, когда формировалось правительство и мое слово было решающим. Рад безмерно лишиться вас, и надеюсь, что все бы вас лишились с той же радостью, с какой я вас лишаюсь. В партии есть честные и серьезные, но и они немногочисленны, доколе будете в ней вы. Возвращаясь к вам, Н.: к нашему несчастью и к несчастью страны — которая не замедлит в том убедиться — вы глава правительства; у меня нет намерения припоминать здесь всю вашу до седых волос карьеру. К тому же седина — не вина. Можно быть седым — но честным, седым — но добрым, седым — но пылким. Именно этого вам нехватает. О да, вы умели непринужденно лавировать меж шпигами и этиками, подражая неподражаемому Де Гаспери, до которого вам дальше миллиона световых лет. Но вам нехватает именно человеческого тепла, а еще доброты, мудрости, гибкости, чистоты душевной, — есть в мире демократы, которые такими качествами обладают, но вы не из их числа. Вам не поможет дипломатическая любезность президента Кэртера, который не слишком разбираясь в деле приписывает вам успехи демократического 30-летия: этого мало чтобы войти в историю. Вам суждено мигнуть и кануть без следа...

Мне не за что вас благодарить — и поскольку вы есть то что вы есть, то даже досадовать на вас не приходится. Желаю вам, достойный Н., успешных трудов вместе с вашей несравненной руководящей группой, и храни вас Бог от моей участи:

всякое воспитание во благо человеку, но только не нынешнему премьер-министру."

Толкователь цитирует Миланский мемориал, один из скандальнейших текстов 78 года. Написанный в начале апреля, Мемориал среди прочих бумаг был найден при разгроме миланской базы антагонистов только 1 октября. Это 40 /во втором экземпляре 42/ листа машинописи, и оба экземпляра принимал прокурор Милана с великой осторожностью, каждый лист под расписку. "Нэт, публицковать это мемнслимо", - таково было первое впечатление; но как водится, отрывки, цитаты с фантастическими искажениями начали просиживать в прессу, и на 15-ый день пришлось отдать весь текст, и с уверениями, что это действительно весь текст, без малейшего изъята.

Волею рока - или Бога - Миланский мемориал его автору заменил мемуары, обычные мемуары, какие пишет <sup>политик</sup> удаленный или насильственно удаленный от дел, например Наполеон на св.Елене. Как обычно, мемуары содержат анализ прошлой и настоящей политической ситуации, и похвальные отзывы, и брани, и портреты. В цитированном отрывке пленник, очевидно, дал волю чувству, обратив свой гнев на государство, которое отказывалось его спасти. На государство, а не на антагонистов, потому что те действовали согласно ампуа и не могли иначе; они даже оказывались лучше нежели можно было ожидать: возможно, что "по их великодушию, - сказано в том же мемориале, мне будет возвращена жизнь, семья и свобода..." Государство же, вопиющее в своих друзьях и коллегах, он считал свободным в выборе, следовательно, все зависело от них.

Но государственный деятель, статист - это ампуа; государственный деятель в качестве такового не должен, видимо, внушать ни гнева ни сострадания. И приходится признать, что Миланский мемориал, написанный кровью сердца, есть чудовищная несправедливость и парадокс, а то и хуже: парадоксальная симметрия в признаниях Патрицио Печи, Великого Каздегоса, на которого нераскаленные глядеть не желали на процессе 82 года. "Президент, мы уходим, мы уже все сказали что имели сказать вам этому - там." "Эти господа, - отвечает вам этот



там, тоже не глядя на тех, — они получили удар политический и военный, им надо было отыграться... Меня в тюрьме им было не достать, так они схватили моего брата... как бы в трусах и майке... выволокли из дома... заставили говорить что я сотрудничал с полицией еще за 4 месяца до ареста: врешь! Они бы все тогда давно уже сидели, потому что я все знал, я участвовал в выработке стратегического направления! Для них убивать — это ремесло: вышел из дому, пошел, убил..." И он продолжает свою переоценку ценностей: "А те, кого убивали — это люди достойные и обществу нужные." У него, в отличие от 3-го антагониста, скверная интонация, которая рековым образом напоминает взаимное влияние помоев в показаниях русских декабристов до полного забвения дворянской, офицерской чести. И как искрило, ошеломило публику покаяние Рисакова и Гольденберга: все думали, что это под гипнозом.

И поскольку Миланский мемориал далеко не единственное нарушение этикета, совершенное протагонистом, то как мог бы он существовать — в какой роли — в каком качестве — даже если б Святой Отец, первый антагонист, если б ангел Господень вывел его из темницы на виа Монтальчино 8. Уникальный, парадоксальный случай: в оправдании нуждаются не убийцы, но жертва.

Это он первый написал слово "переговоры" и "обмен". "Это его идея, а не наша", подтвердили в коммюнике антагонисты, и в самом деле они вряд ли бы сумели аргументировать так четко так логично, со ссылками на исторические прецеденты /включая дело Лоренца 75 года, когда власти спасли законника уступая последовательно по всем пунктам до предела и за пределом, где уступать было больше нечего/. "Отнятую свободу можно вернуть — жизнь невозвратима. Какой справедливостью, каким законом возмездия оправдывает государство смертную казнь, которую оно намерено допустить? Государство с его смертностью, его нравственным попустительством, его нехваткой чувства истории?" — так после политики и права он аргументировал от этики. И ядал, как на арене гладиатор, который как бы мужественно ни сражался, исход все равно

решает цезарь: поднимет палец или опустит.

- Давали ему читать газеты? - спрашивает в 82 году судья.

- Да, но частично: он читал то, что организация считала нужным довести до его сведения.

- Но если, например, он просил "Пополо" - давали?

- Не знаю. Для него выбирали газеты или отдельные статьи.

Наверно, номер от 5 апреля с громадной заголовком: "Республика не уступит!" И тот, где написано: "Нельзя платить за жизнь человека смертью Республики", и еще тот, где упомянуто ему в пример и мученичество христианские мученики, которые у римских императоров не просили пощады. И тот, где сказано: герои Сопротивления писали перед казнью совсем иные письма. Все это пленный читал - и как бы диалог возникает между ним и волей:

"Наилучшие пожелания также и вам, досточтимый Н., у вас будет ценнейший партнер: в любой должности флигел. Эта новая политическая фаза началась весьма торжественно - но не рискуете ли вы покончить с ней слишком скоро, обрекая смерти ее стратега и свершителя, единственного кому удалось достичь соглашения между демокристами и коммунистами? Соглашение принято называть "программно-парламентским большинством": впредь следует осторожной изобретать формули..."

Выше было упомянуто о спорах среди антагонистов: не все требовали казни пленника. Лидер Автономии, уехавший в Канаду, летом 82 года в штыки встретил интервьюера:

- По-вашему, это я убил? Я не убивал!

Крестная судьба, добавляет он: я так старался его спасти, а сегодня на меня указывают как на виновного. Десять раз как минимум со мной пытались договориться социалисты, директор "Эспрессо"...

Но социалистам приходилось еще заставить демократов, и они их дожимали неотступно. Дело близится к концу, но еще ничего не решено и еще все возможно; социалисты приходят на пятачок дель Дессу:

- Сделайте что-нибудь.

Демокристьянини: - Но что?

Социалист: - Ну это вам решать, вы партия большинства.

Демокристьянини: - у вас есть какие-то конкретные предложения?

Социалист: - Это надо обсудить - по возможности...

Демокристьянини /теряя терпение/: - Послушайте, скажите наконец ясно, чего вы хотите?

Социалист: - Но решать - вам, он же президент вашей партии

- Мы опасались, - вспоминает спустя 4 года демокристьянский участник разговора. - Мы подозревали ловушку: ведь стоило нам чуть преступить грань законности, и все немедленно обратилось бы против нас, и социалисты тоже.

- Мы сделали ошибку, - вспоминает один из социалистических собеседников. - Нам следовало с самого начала извещать магистратуру о наших попытках вести переговоры с террористами.

Если в музее будет лежать под стеклом Скорпион и стоять посреди зала красная Рено, немтая, то должна быть в числе экспонатов и фотография лидера Аутономии: лицо демонически мрачное, на шею шарф - край ветром приподнят; а также запись этого диалога с ловушкой. Еще нужен большой сосуд для слез государственных людей, они их немало пролили 9 мая. Позор тому кто усомнится в их подлинности: эти люди страдали искренне во всю величину души, и старались, и импровизировали как могли: в пределах амплуа.

Образцовой логикой отличаются все рассуждения протагониста. Но когда он применительно к себе говорит об ответственности и о невиновности /при подсчете количество слов оказывается почти равным/, тут чудится странное противоречие.

Историческая ответственность общепризнана. Политический лидер так сказать виноват с момента принятия на себя власти: это нечто вроде первородного греха, непонятно только, кем и как за него взыскивается. Законов на этот случай

нет, — условно говоря, судит история, т.е. некий эстетизированный принцип, т.е. никто, следовательно, кто угодно. Обвинять политика — это почти требование этикета: зачем было негодовать, когда его призвали к ответу? — Но нельзя же понимать буквально! — Почему? Кому принадлежит право суда? Кто умеет — ответит: Богу, и здесь умолкает всякое суждение, а также исчезает вся пенитенциарная система. "Вы наказали меня за ошибку, maestro, — сказал оркестрант дирижеру, — но привесьте к кончику вашей палочки колокольчик — и мы услышим немало фальшивых нот."

Право принадлежит народу, заявив антагонисту. Народ заключает в народную тюрьму, народный трибунал судит одного из "государственных убийц" /язык по наблюдению Поэта имеющий две характеристики: одна — техницизм, другая — риторически-гиперболические и гиперболические упрощения, например "убийца" вместо "политически и косвенно ответственный за убийства": лингвистическая тонкость, совершенно неизвестная юристам-профессионалам/. Они присвоили право говорить от имени народа? — но как уже было сказано, государство присвоило себе божественное право. Антагонисты лишь усердные имитаторы государства. Назвав весной 78 года своего пленника политзаключенным, они тщательно соблюдали его права — но как сумели соблюсти их до конца, например дать подсудимому адвоката, а приговоренному священника, потому что нельзя католика умереть без исповеди и причастия?

Это, впрочем, по обстоятельствам. Что же до логики — они логичны: отстраняясь от их начальной посылки /а ее нельзя ни доказать, ни опровергнуть/, они среди всех участников дела наиболее логичны, — при условии, что историческая ответственность существует.

Брут убил Цезаря — он изменил лицо мира и Рима. Согласно Ортеге противники Цезаря мыслили провинциально, восставая против дальнейшей экспансии Рима, — Цезарь же мыслил глобально и структурно и хотел продолжать завоевания, пока Рим не вырастет до нужного размера, необходимой массы, в которой только и возможно структурное обновление. Убийцы помешали ему: создание современного национального государств-

ва отсрочилась до Наполеона. Продолжая эту мысль, можно предположить, что Наполеон намеревался преодолеть национальное государство, увеличивая империю до необходимой массы, каковой структурное обновление привело бы к Общему рынку, — европейскому парламенту, к европейской интеграции. Покупаясь на Наполеона, шутан Карудаль и студент Штапе могли верить, что делают историю; счеждно, верил и Клаус фон Штауффенберг 20 июля 44 года. Таково общепринятое мнение; но по другому столь же общепринятому мнению после Французской революции с ее всеобщей воинской повинностью, вводящей в игру огромные людские массы, после технологических революций, когда массовым делается производственный процесс, не осталось ничего кроме статистики. Каков мир — таков Рим и Цезарь, и если антагонисты видели в современном политике всемогущего тирана — они ему льстили безмерно, и тем льстили себе, себя возвышая до соответствующего уровня: им не хватало чувства меры.

Но если историческая ответственность здесь, на земле, шесть футов выше, чем в песенке Джона Леннона, все-таки была, — иначе говоря, если в политической деятельности каким-то образом реализовалась свободная воля, — тогда, возможно, уравнивались одна другую вина и воздаяние.

— Скажи, что ты думаешь об этой истории? — спросил толкователь у переводчицы.

— Ужасная история. Им в чем неповинного человека, ни за что ни про что...

— Но историческая ответственность существует?

— Конечно, существует, но не убивать же за нее.

— А Джентиле расстреляли правильно?

— Разумеется, правильно. И Клару повесили правильно.

— Тогда тут почему неправильно?

— Потому что человеческая жизнь есть высшая ценность, абсолютная ценность. Террористы — бандиты, убийцы.

— Они же предлагали обмен, переговоры.

— Нельзя идти на уступки террористам, на переговоры. Правильно сказали, что не согласились.

- Послушай, - сказал толкователь, - но ведь это пародия на суждения, пародия на принципы, пародия наконец на логику!

- Твоя логика школьная, - ответила она, - бывает еще другая.

Не желая облегчить себе задачу, толкователь обратился за консультацией к экономисту как адвокату дьявола: пользование отечественными источниками обеспечивало максимально возможную степень недоброжелательства.

Консультант принес конспекты, диаграммы и статистические таблицы.

- Но я бы и сам мог прочесть книги и сделать выписки, - разочарованно сказал заказчик. - Будьте добры сообщить ваше собственное мнение: хорошо или плохо управляли Италией в последние 30 лет?

Немного подумав, экономист ответил:

- Делали что могли. Пожалуй, не сделали ничего особенно скверного. Доказательство - выборы: хотя оппозиция и набирала силы, правящая партия всегда сохраняла свой более или менее стабильный процент, так что оппозиция обогащалась за счет кого-нибудь другого. Правящая партия, всегда одна и та же, даже в разгар контестации, даже в апогее забастовок не теряла существенно своего электората.

- А теперь?

- Это уж, возможно, биология. Я же сказал: делали что могли - пока могли. Конечно, всякую политическую партию после определенного периода пребывания у власти следует подвергать нюрнбергскому суду и следствию, это будет катарсис и всеобщее желанное обновление, и ей же первой полезно. Этот суд она могла бы отодвинуть, - внутри себя себе же создавая и выдерживая оппозицию; но это чаще бывает в собственно оппозиционной партии / вплоть до раскола / и редко в правящей.

- А вг?

- Что ж, вг развивали следующим образом: в 50-х годах пред-индустриализация, т.е. создание инфраструктуры как условия таковой, далее в 60-х полета развития, наконец

индустриализация с конца 60-х.

- Но из ваших статистических данных явствует, что Север все-таки развивался быстрее, и разрыв еще увеличился.

Каждая единица капиталовложений на Юге дает несравненно меньшую отдачу, нежели на Севере. Начинать с нуля - значит вкладывать скорее в будущее, чем в настоящее. Вы не можете выключить, остановить Север, не можете оделать примерно наоборот. Далее, вы не можете обрушивать на Юг больше средств и быстрее, чем он способен усвоить: не наливать же из ведра в рямку. Югу нужна была не реформа, но революция - и развитие Юга было задумано, в сущности, как революция; но вы не можете делать локальную революцию, и потому революционный замысел осуществлялся реформистскими методами. Все дело в том, как относиться к реальности: как к конкуренту, воспитуемому ребенку, как к грабнику, которого надо наказывать, - или как к равноправному партнеру... На Юге нарушен, цитирую, баланс "традиции - мутации" - в пользу традиций, и Юг отчаянно сопротивляется унификации.

- Потому что процесс унификации уничтожает уникальные человеческие типы и ценности.

- Ну это не по моей части, я экономист. Впрочем, если угодно: мне эти святые старухи - русские святые старухи никогда не казались убедительны в качестве хранительниц вечного. Их почти нет уже, а завтра не будет вовсе - что ж это за вечное, если оно может исчезнуть? Некорректное обращение с термином. Или они попросту выдуманы, или ради аллюзии, чтобы постылое сущее побить должным, пускай неживым.

- Допустим, вы мне доказали /пользуясь моим невежеством /, что Италией управляли не наилучшим возможным образом. А лучше нельзя было?

- Как сказать. Они обладали негативной добродетелью: не мешали тому, что рождала стихия рынка и промышленного развития; а позже, когда просто не мешать было уже мало - по причинам имманентным, а также из необходимости корректировать с европейской интеграцией - перешли к директизму, т.е. пытались помогать тому, что рождалось. Некая инстинк-

тншая - впрочем интеллектуально опосредованная попытка марксистки... Откуда левый центр как политическое выражение, даже - на романской страсти и риторике - как философия эпохи. Управляемая экономика невозможна без участия левой - поэтому в коалицию приглашают социалистов, это называется расширить социальную базу правительства. Объявлено планирование, реформы, проходит несколько лет, контрольные цифры плана сравнивают с эмпирическими: надежды оказались обмануты, и автора левцентризма, премьера 60-х годов обвиняют в философическом расколе мышления и практики, его имя становится символом провала. Что, впрочем, не мешает его дальнейшей карьере. В 73 году он министр иностранных дел и комментирует чилийский переворот: "Даже в том случае, если обстоятельства действительно были таковы /т.е. полный социально-экономический развал/, это все равно не оправдывает насильственного вмешательства военных". Вот это и есть принцип непрерывности демократии: "ДАЖЕ ЕСЛИ..." В предельном случае хорошо бы приготовить яичницу не разбив яиц. Откуда впечатление провала? Реформы левого центра, задуманные именно как реформы, для реализации требовали почти революционных методов - потому что государство в его нынешнем виде, его институты не располагают соответствующими механизмами, техникой реализации больших реформ без нарушения равновесия. Совершите отступление от принципа, от непрерывности и преемственности, начните революцию; но после революции вам захочется конституции, и вы увидите, как трудно ее добиться. Революционный гений во главе правительства имел бы пожалуй более импозантный вид, его никто бы не звал трусом, ни паралитиком или нисобмыслителем; но трансцендентный революционный гений немислим как фактор демократического бита.

- Однако оппозиция всегда предлагала альтернативные решения.

- Это замечательно трезвая и уважаемая оппозиция, оппозиция его величества государства, ее величества Республики. Изучая все эти материалы, я понять не мог, отчего ее так боятся. Во все не обязательно, что будь она у власти, у



нее получилось бы лучше или даже получилось бы иначе. Очень, очень жаль, если ее замечательным лидером так и осуждено в оппозиции умереть. Ведь социалисты это только псевдоним, когда речь идет о расширении социальной базы правительства... Я вижу, — усмехнулся он, — вам хотелось чего-то более красочного, верней черно-белого: "они спасли страну" или "они привели страну на край пропасти". Но это, знаете ли, эстетика. Всего хорошего, желаю удачи...

Был в его суждениях какой-то ужасающий детерминизм. Промышленность развивается согласно технологии, вооружения согласно динамике научных открытий, — политическая же, парламентская жизнь идет сама по себе и для себя, живая и горячая, поле действия тех страстей и честолюбий, которые по-кроме участвуют в делах истории, — но начисто деонтологизированная. /Он, правда, замечал, что мы не можем понять, что такое профсоюз и чем могут быть профсоюз, потому-де о них и не упоминает / Либерально-демократическое государство вездесуще и анонимно, властвует поскольку существует и пока существует, преемственность, непрерывность — инерция есть условие его существования; именно политик в нем обладает наименьшими возможностями, его власть фикция — и привлекать его к исторической ответственности значит сжигать чучело Гая Сокса.

Возможности, власть, ответственность — их легче вообразить воплощенными в каком-нибудь неинституциональном прологе, в городском сумасшедшем, который ничего не знает о сложной государственной машине, ни о социальной структуре, ее игнорирует — и потому-то проходит насквозь как пуля.

### Страсти по Бенедетто Кроче

Когда в 82 году государство, празднуя свою победу, вошло процесс над антагонистами, два вопроса повторялись с маньякальной историчностью. "Почему?" /т.е. почему убили/; и "должен ли был неизбежно умереть планинг /заложник, политзаключенный/ или его можно было спасти?"

- Помните, если бы вы согласились на переговоры, он сегодня был бы здесь! - эту фразу в день открытия суда 14 апреля 82 года кто-то из антагонистов бросил в толпу у входа в Доро Италия. И его товарищи хором запели Интернационал. Как известно, они себя считали обвинителями и судьями, и один из них сказал: "Наш подсудимый, президент Христианской демократии, тоже присутствует на нашем процессе." Если этот случай спиритизма оставить в стороне, то фраза "Помните, если бы вы согласились..." остается единственным возможным ответом на вопрос "почему" - с одним только вариантом: если бы выследили - нашли - штурмовали гнездо, и действительно генерал Дохлер во плоти появившись в Вероне на процессе своего имени и медленным пошел /освещение было ослепительное, репортеры неистовствовали/ мимо тех, кто 42 дня держал его в плену. Это было, наверно, прекрасно /прекрасное есть ужасное в безопасной степени, учил Рильке, - эстетизированный ужас/; толкователю жаль, что его занятия не позволили ему поехать в Верону, тем более что на открытии процесса исполняли финал 9 симфонии Бетховена как символ победившего гуманизма. "Мне не угрожали смертью, - рассказывал генерал, - трижды в день была еда и раз в 10 дней ванна. Я не подвергался насилию, если не считать что меня привязывали к кровати, и еще музыка в наушниках была чересчур громкая." Когда полиция, с 78 года все же усовершенствованная на 13 дней, ворвалась в комнату, он сперва не понял, что происходит, и ему закричали впопыхах: "это вы, вы генерал?"

На известном уровне эстетизации варианты уже невозможны: кажется, одно событие неотвратимо влечет за собой другое и далее, и вот уже сама собой разумеется логика, или историческая необходимость; или рок, что, все-таки, менее глупо. Возможно, в таком причинно-следственном совершенстве будет со временем изложена биография протагониста - и неизбежность финала выведут то ли из его рискованной диалогичности /как известно, он находил допустимым и нужным диалог с Партией армато/, то ли из его намерения в 46 году сделаться

не демохристианином, а социалистом; или в высшем смысле как возмездие за гибель светлячком. Еще выше поднять уровень эстетизации — и не будет ни правых ни виноватых: например, невиновен Пилат, администратор и государственный деятель. Впрочем, Пилат именно в своем амплуа кажется неубедительным. Еще была бесспорной цивилизаторская миссия Рима, и прокуратор Пилат, в римской провинции Иудее должностствующий эту миссию изображать, — почему он не сумел обменять политзаключенного, заложника Христа на уголовного Варавву? При всей мудрой веротерпимости британской имперской политики англичане — запретив в Индии сутти — мог бы и Пилат хоть раз пойти против местных обычаев. Сколько возможностей, какое поле для импровизации! Но он сделал лишь слабую попытку — можно заподозрить, что Пилат сознавал свою миссию и делал не просто историю, но Священную историю; или по эстетическим мотивам не хотел нарушить прекрасную симметрию трех крестов на Голгофе. Известно, что Иуда тоже — какой высокий суд и бессмертный поворот — пожертвовал ради идеи жизнью и более чем жизнью, своим добрым именем в истории. Но тот лейтенант, которому пересказали Страсти столетия спустя, — он их передал словом воображения буквально и реально, и возмущился: если б я там был! с моим легионом! — хотя он знал уже, что бессмертие Христу гарантировано.. Да, он воскреснет на третий день — но сейчас-то висит и будет висеть еще несколько часов, Боже, почему меня оставил, — как вы удержитесь, чтоб не вмешаться? Петр отрубил же ухо рабу. Если вы сейчас, слышавши обо всем узнали, если воображение оживающее после долгого застоя, вас принуждает попытку слушать нервами, мускулами, кожей, что вам за дело до вечности, воскресения, величия христианской идеи, — это же невозможно, немедленно прекратить! Снизьте его, врача скорее, носилки, биты, обливание крови, да что же подушку, подушку забияк положить под голову. Искусственное дыхание: разведите ему руки в стороны и дышите в рот, Господи, все читали как оказывать первую помощь, а я сам, а сейчас растерялся. Да сделайте же что-нибудь! — Что именно? — Ну это вам лучше знать, вы х

стемни давно, а я... - Скажите наконец, чего вы хотите? В историческом нетерпении, теряя ясность разума и свободу духа, не попросить ли доброго Бога, такого доброго, что уж Он и собственного бытия лишится, фигуры не имеет, только ложка сиропа, - пускай прокрутит фильм-хронику обратно - злоупотребляя прелестным русским диалектным "обратно" в значении "опять", но по-хорошему: пусть минует его та чаша. Тернии превратятся в обыкновенный куст, а древо креста обратно в дерево, не знающее о своем мифологическом призвании быть деревом Игдрасиль. Но тогда самому Иисусу Христу лучше б не родиться от Марии. Гуманности, молчите. *The*

*presso* *Toldco*.

Весенняя история 78 года еще в реальности, еще до эстетизирующих превращений была напористо театральна - по причине публичности, риторики и жестикуляции. К середине апреля партнеры сыгрались - как в комедии дель арте, как в цирковом дуэте Белого и Рыжего клоуна, что могли импровизировать, с полуслова друг друга понимая. Государство само не будет вести переговоры - кого просить в посредники: женеvский Красный Крест? Эмнести Интернашн, поскольку пленник себя называет политзаключенным и требует, чтобы его обменяли на других политзаключенных? - Ответная реплика антагонистов заранее угадывается: "нет". Им не нужны посредники, им нужно само государство. Они продолжали импровизировать, и 18-го апреля появилось 7 коммюнике: осужденный расстрелян и брошен в озеро.

И государство искало в озере: летали вертолеты, и специалисты в специальном облачении копались в ледяной каше воды и снега, потому что горное озеро замерзло. "Если они его туда бросили, то не позже, чем в субботу, до снегопада" /а 19-а была среда/, комментировали официальные лица. "Они нарочно не хотят, чтоб мы нашли..." Антагонисты, получив ожидаемую реплику и мизансцену, 20-го апреля в коммюнике 7-бис назвали имена своих тринадцати - три пленников государства, потребовали обмена и объявили ультиматум длиной в 48 часов. К коммюнике приложена была фотография их пленного, в руках у него газета и четко видно число. Комментарий

журналиста: "что сказали демохристиане, когда на фото увидели его живым":

- Ничего нельзя сказать. Неизвестно, достоверно это или нет.

- Документ я еще не видел, но слышал о нем. Предполагаю, что известие это достоверное, не знаю, что думать. Почему все эти дни молчали?

- То объявляют смерть, сегодня - что жив. Не помошь...

Значит, еще не конец, и надо снова импровизировать, а 24 апреля сороковой день, завтра сорок первый, сил нет: попытка импровизацией, и антагонисты тоже запутались и затянулись дело до монотонности, непоправимо, и всем одного хочется: кончить, но никак не могут кончить, не умрут.

Публичная казнь с трудом поддается эстетизации. Почему Локосси изображен с закрытым ртом: неправдоподобно, он же кричит от боли? - Этого требует эстетическое чувство. В пьесах о Жанне д'Арк на сцене нет горящего костра, у Ануя его раскидали, а Шиллер вовсе сочинил Жанне другую смерть - и ей легче, и ему /легче эстетизировать; если только не излечения ради: поздний Шиллер был одержим дидактикой/. Но добавит ли вам физического мужества, если паляч для вашего ободрения на ваших глазах сам себе отрубит голову; или ваш дантист, чтобы подать вам пример, вырвет себе все зубы? Прозаик, Первый евангелист 78 года, написал дословно: "Не думаю, чтобы он боялся смерти" - из благородного и патетического упрямства истолковал письмо своего персонажа в обратном смысле. Если поздно импровизировать в реальности, нужно импровизировать в толковании ее, исправить сияю слова нестерпимую реальность; если нельзя спасти жизнь человека, то можно спасти его честь и доброе имя. Нужно предположить, что он не боялся смерти, - потому что бояться смерти позорно, если ты не женщина и не ребенок, и во всяком случае не принято, непристойно обнаруживать этот страх. Государственных людей тоже ужаснуло такое против ампулы поведение их коллеги, а его друзья от него публично отреклись - но Первый евангелист, потрясенный

и разгневанный отечением, похоже, сам чувствовал некое несоответствие и несоразмерность, в его романах герой куда ближе к традиционному образцу мужества; даже для него, кажется, в оправдании нуждались не убийцы, а жертва. "Я не могу оставить мою семью, я нужен семье" — эту фразу персонаж одержимо твердил как последний решающий довод в свою пользу, исчерпав доводы правовые, политические, исторические. Вособразите Наполеона, просящего Англию и Меттерниха: не отправляйте меня на св.Клену, я так люблю сына, Римского короля; представьте Цезаря, умоляющего Брута и Кассия: пощадите, я нужен Кальпурнии! — нет, это эстетически неприемлемо. А потому нужно расшифровать, что "семья" — это не семья, жена, три дочери и сын и маленький внук, но Христианская демократия, Италия, — отчего не весь мир. Сицилийское, мафиозное толкование слова "семья".

— Почему, — спросил толкователь своего знакомого священника, — почему вера не помогает истинно верующему противостоять страху смерти?

Тот объяснил, что верующий христианин вовсе не призван быть безразличным к дилемме "жить или умереть", напротив, он страстно любит жизнь, ибо верит в божественную преемственность, длительность, нескончаемость жизни — и не может поэтому не ощущать страдание и смерть, как драматический "шах", как час торжества князя тьмы. Священник, как подобало итальянскому интеллектуалу, вспомнил Симону Вейль: христианин переживает насилие не телом одним, но и душой, он беззащитен даже более чем Христа лишенный, и лишь глубиннейшее глубины сердца может спасти от насилия...

— Более того, — сказал он, — в универсуме христианина смерть и страдание глубоко ненатуральны, ибо порождены властью, которая вне естества: страдание и смерть знаменуют отсутствие Бога: "почто меня оставил?"

Толкователю всегда неприятна была мазохистская версия христианства, по которой страдание есть благо и чем хуже, тем лучше; но столь радикальный разрыв с традиционным представлением казался странным. Бога, значит, нет в

99% реального мира /остаток в 1% тоже не более, чем пере-  
днем перед началом новой сотни/: именно там Бог нет, где  
нужна Его помощь: не значит ли это, попросив хлеба, полу-  
чить камень?

И словно для того, чтоб окончательно смутить вопроша-  
ющего, священник прибавил:

- Вера не входит в психологический механизм восприя-  
тия реальности, не социализирует боль и смерть - и не мо-  
жет их свести к минимуму, чтобы приспособить универсум  
для дальнейшего в нем пребывания. Вера не идеал и не мотив;  
вера не принадлежит ни к миру культуры, ни к миру  
душевному, - вообще не принадлежит к ЭТОМУ миру...

Толкователь слушал спустив глаза. Ему казалось, что  
его морочат. Не-христианин - или точнее христианин лишь  
по уроденности в христианской цивилизации и принадлежа-  
щий по Блугу к коллективно-бессознательному или по Фромму  
к социально-бессознательному христианства, т.е. конкретно  
никогашней как христианин по общности культурной формации,  
политической концепции /тождество, например, у Маритена  
христианства и демократии, взошедшей и округлившейся на  
закваске персонализма/, а также юридического и эстетичес-  
кого представления о мире, - короче, христианин поневоле,  
если не против воли, - толкователь созерцал верующих хри-  
стиан со смешанным чувством зависти и превосходства. Как  
богачей - гордый нищий. Как открытый всем ветрам - спасаю-  
щихся под крышей. Как беззащитный, но отказывающийся  
взять оружие в обмен на свободу. И вот теперь вне мира ос-  
тавляют то, что дороже всех сокровищ мира! Чтоб уберечь от  
мира? Зачем тогда наказали раба, зернившего деньги?

Секулярное, слишком секулярное это было толкование  
веры. Пускай оно логично, т.е. коль скоро страдание и  
смерть для христианина противоестественны, то вынести этот  
противоестественный мир только и можно вынеся вон из него  
веру; но толкователя так и восхищала католическая церковь,  
что ни от чего в этом мире не устранилась, например от по-  
литики /трактат Кеведе "Политика Бога, правление Христа и  
тирания Сатаны"/, и никакого человеческого дела не остав-

ляла профанам на потоп и разграбление. И будучи максималь-  
но ~~индивидуальной~~ духовной — она была максималь-  
но телесной, вещественной: как боги у Гомера, Христос и  
ангелы и святые ходили с солдатами в атаку и в нужный  
момент прикрывали щитом избранных; и храм населен был  
фресками и статуями и всей праздничной красотой. Католи-  
ческая церковь не проклинала плоть, наоборот, позволяла  
ее и даже объявляла необходимой, потому что телесно чело-  
век предстает перед творцом в литургии. Плоть, вплоть до  
костей умерщвляемая, все равно оставляет тяжелые кости,  
которые не станут духом, — от такой кости можно прийти  
в отчаяние, если не вспомнить, что нужны колени чтобы сто-  
ять на коленях тела своего, и фаланги пальцев, чтоб их  
складывать...

Но вера не принадлежит этому миру, сказал консультант:  
не оспаривать это надлежало, а понять. Но аналогии толко-  
ватель предложил бы следующую несколько фантастическую ин-  
терпретацию Кроче: освободив дух, великий философ в ком-  
пансацию потребовал, чтобы дух соблюдал строжайшую чистоту  
плотности, не смешивая различные сферы своей деятельности.  
Целью было, например, слить воедино Бога и мир как един-  
ство противоположностей, потому что в таком слиянии оба  
теряли свою подлинность; принцип различия охранял надежней  
собственную сущность мира и Бога. Оставаясь автономными,  
они тем не менее объединялись в условиях строгой иерархии:  
видимо, Кроче мыслил католически, будучи философом ланко,  
отчетливо ланко и входящим в антиклерикальную традицию.  
Такое обличение делало честь и католицизму и Кроче, как  
свидетельство универсальности.

Каждый случай несоблюдения различий был профанация и  
подмена: когда Савонарола социализировал и политизировал  
веру, или когда Мицкевич играл в мессию, а Багнер в теур-  
га; или наконец Бугаков в короткой газетной заметке опи-  
сал Маяковского, который стоит на трибуне, как на амвоне и,  
раскрыв огромный квадратный рот, бросает в толпу стихот-  
ворные лозунги, а толпа отвечает восторженным гулом. Не  
есть ли это имитация литургии; литургия, очевидно, единст-



венная возможность соединения Бога и мира без угрозы профанации, поэтому участие в литургии, каким бы то ни было образом, — величайшее счастье, а за право и власть отправлять литургию и жизни не жаль. Но термин хорош в прямом значении, литургия хороша в храме — меж тем сколько раз государство пыталось подменить собор церковь, церковь же подменяла Бога и эстетика под именем литургии норовила подменить собор церковь. Впрочем, от последних двух откаться можно только избегая воплощения как такового, отрекаюсь от воплощения — и вообще существования.

Да что же, сказал себе толкователь, все это позади: теократические империи, и Робеспьер с его Верховным существом, Робеспьер—первосвященник Богини разума, с его декретированным обращением на "ты", и позади даже Муссолини с его знаменитым вместо и народнико-гегельянской фразой "все для государства и ничего вне государства". Государство секуляризовано необратимо, кесарь не покушается более подменить собор Бога, а литургия надежно ограничена стенами храма и не претендует на тотальное распространение. Кесарь превратился в посредника, и чем меньше у него индивидуальных черт характера и воли, тем лучше. Веселая и опасная народня на кесаря — адвокат-посредник в соломенной шляпе, из Неаполя, всеобщий фактотум, Фигаро, который сводит торговца с покупателем и балмаки с чистильщиком. Государство — предохранительная оболочка преемственности; государство-предприниматель и акционер, а еще оно оставило за собой полицейские функции, а еще берется быть просветителем, т.е. дамает добро распространяя истину — и просветительство у него оборачивается ужасающей пошлостью, как у заколдованной принцессы, у которой с каждым словом изо рта вместо роз — жаба. Но это не вина, это беда. Проповедь апостолов была попыткой просветительства, популяризации — понять же самого Христа даже им было трудно. "Зачем говорить притчами?" Он объяснял, что притчами говорит с толпой, а им скажет напрямую — и он мучился безмерно, а Евангелии это ошутимо физически, пытаюсь перело-

жить словами то, что было за гранью языка, и может быть — поэтому ближайшим подобием его мысли делались именно анекдоты — притчи, а также анекдотические парадоксы: блаженны плачущие... блаженны немущие...

Можно было надеяться, что мудрость, что память о стольких бедах заставит отныне соблюдать различия, хотя бы функциональные, т.е. государство не возьмется служить литургии. Но вот весна 78 года, и что с нею делать? Возможно, было бы правильной дать этой главе имя Джентиле — из-за сильнейшего стремления опять все слить и переменить и веру грубым рывком ввернуть в этот мир и Бога принудить к соучастию; из-за монистической попытки жизнь превратить в тотальную литургию, в спонтанную онтологию в духе *actualisatio* и парижского мая 68 года. Однако тоска по тотальной литургии есть, быть может, слабость; всеединство есть, быть может, нечто желаемое и чего желать следует, — но что никогда не может и не должно быть достигнуто принципиально. Достигнутое единство — натяжка, фальсификация от нетерпения и усталости. Опять Рим, будто он Рим, а не порочия, ждет, чтобы Квинт Курций прыгнул в пропасть на коне и в полном вооружении. Но тот-то хоть верил, что спасает родину и прыгал по доброй воле /лошадь жалко/; гладиатору же умирать приходится не "затем чтоб" /во имя/, но "потому что" он раб или наемник, и тем самым вопрос "зачем" /есть ли смысл в его смерти/ для него снят, и ему как позитивисту остается только забота о "как". Как умереть удачней и более эстетизированно, и перед смертью прославить Цезаря. В 78 году смертник отказался произнести Ave Roma, и Рим был шокирован.

Друже раздалась с детерминизмом — чтобы история сделалась живым делом людей и их страстей, трагической игрой с непредсказуемым исходом. И страсти весной 78 года нахлывались бурно, с эмфазой, риторикой и патетикой на улицах и в масс-медиа; но все это была видимость, события шли своим ходом, обнаруживая такое устрашающее причинно-следственное совершенство, без зазоров, как в пирамидах, где некуда просунуть свободную волю. Государственные люди, иначе

статисты, вели свою линию /или она их зела/, и параллельно, как второй рельс свою линию вели антагонисты. Все различия утонули, погребли в этом единстве противоположностей: различия идейные, конфессиональные, даже возрастные: молодые в подполье действовали как старики в правительстве. Что выставить против детерминизма? Меркнущее воспоминание о деле Моренца; да еще принес утешения спустя несколько лет испанский парламент: когда военные при попытке переворота ворвались с автоматами в зал и взяв парламентариев на прищел, скомандовали "ложись"! — весь парламент как один человек. лег. Они могли бы поступить иначе: цвет нации, избранныки народа, испанская честь — но от всего этого они освободились. Прекрасный пример; майши по Рим 78 года стоял на своем, а если детерминизм хоть однажды сработал — он существовал.

И однажды допущенный, он немедленно претендовал на тотальное распространение, включая рулетку и джазовую импровизацию. Например, получалась такая политическая симметрия к экономической картине, нарисованной консультантом: социалисты были непримемлемы, пока были воплощением левой: на выборах 46 года они получили 25% при 19% у коммунистов — но далее соотношение сил изменилось, и теперь уже коммунисты стали представлять левую, социалисты же передвинулись с края политического спектра ближе к центру; для большей наглядности они порвали союз с коммунистами. Социалисты перестали быть опасны и односторонны, но были еще несвоевременны как соразники Христианской демократии в правительственной коалиции, пока в Ватикане сидел папа Пачелли и в Белом доме Эйзенхауэр де факто Даллес, — и они сделались возможны и желательны при соответственно Ронкалли и Кеннеди. Это было начало левого центра, а пять лет спустя произошел очередной сдвиг в спектре: после парижского мая 68 года, после-контестации коммунисты не могли более считаться крайне левой. В 70-е годы они уже стеснены на Бродвей с вне-Бродвея, где ранее пребывали; что бы ни означал термин "эврокоммунизм", итальянская компартия солидна и слоноподобна, она держит паритет /экстремистская партия не могла бы

держат административный, парламентский паритет годами и десятилетиями/; она устойчива и уважаема не менее, чем католическая церковь — и максималисты ищут Христа вне церкви и Маркса вне компартии /словно иллюстрируя пророчество Сияона/. Коммунисты делаются приемлемы, даже желательны как союзники перед опасностью терроризма, — разумеется, общение с ними для Христианской демократии рискованно, вроде работы под куполом церка, но сетка натянута еще в египетские папы Ронкалли. Политические доктрины, сказано там, могут быть отвратительны — но не люди, их исповедующие; доктрины неизменны, — люди меняются, и с ними сообща можно делать доброе дело. Наконец саму марксистскую доктрину Мартен называл "безумной истиной", отклонившись с пути нессанотом: чего же больше? Сочетание звезд Монтеги-Картер благоприятствует, — в марте 78 года коммунисты входят в парламентское большинство, как в 62 году социалисты с перспективой к рождеству 63-го получить портфель. Аналогия выдержана, история работает как машина, и участники событий остаются только двигаться во времени и пространстве с абсолютной грацией, как маркизетти Клейста; начинается третья фаза итальянской политики, следует сыграть финал 9 симфонии на заседании парламента 16-го марта, — но дело, как известно, окончилось катастрофой. Вместо исторических законов обнаружилась роковая однократность исторического акта.

И не было удовлетворительного объяснения ни в системе детерминизма, ни в свободе.

Но толкователь все еще надеялся, что истина существует — пускай пародийная, все лучше, чем ничего; Истина существовала и значит где-то пребывала в неразрывной близости с Добром, как славянские близнецы, а перед собой они толкали Красоту как заслон, вроде подлых атак, когда женщин и детей гонят перед танками. Следовательно настичь истину, где бы она ни оказалась, на стороне ли государства или антагонистов. Красота в огне не горит и в воде не тонет, но такова была сила традиции и инерции, что Красотой никто не умел пользоваться отдельно от Добра и Истины: антагонисты толь-

ко прикидывались востатами, как Фальтринелли клоуном: он чересчур старательно изображал клоуна, чтоб им действительно быть. Антагонисты говорили о *geometrica potenza, belle 2* операции на виа Ф., но подлинными артистами они не были. Можно, расчистив место на столе, со спичечными коробками разыграть эту операцию: пять коробков обычного размера и шестой побольше, это будет синяя 130, автомобиль протагониста, за ним бежит Альфетта охраны; на перекрестке виа Ф. и виа С. один из малых коробков преградит дорогу большому, это украденная белая 128 с номером дипломатического корпуса, второй малый встанет справа от большого и еще один слева от белой Альфетты — тормоз, резкий толчок — мгновенно неподвижности — и эти два умчатся, "улетучатся", как говорил очевидец; останется на месте, на одной чуть ломаной линии дипломатической автомобиль, брошенный за неудобностью, за ним большой синий 130, позади Альфетта — и справа последний из малых коробков будет обозначать нечто случайный паркинг у тротуара. Но как бы ни был симметрично и ритмично разыгран этот автомобильно-огнестрельный хэппенинг, он для них не самоцель, его сотворили не ради Красоты, но чтобы уничтожить зло, которое для них воплощалось в пятерых охранниках и одной пародии на тирена.

Проце было бы, прием банальный и печальный, провозгласить истинный абсурд. Но толкователь не хотел и не мог отдать во власть абсурда эту историю. Антагонисты работали во имя истинны, одну нежелательную истину оспаривали друг у друга антагонисты и государство; если так, герой настоящего романа оставался в одиночестве, один против всех — поскольку все были против него: но справедливости и для равновесия следовало изобрести какую-то истину, которая осталась бы с ним.

Подлинность, *l'autenticità*.

На процессе 82 года антагонист из непреклонных говорит судьбе:

- Вы три месяца стараетесь, вы делаете все, чтобы не допустить дискуссии о письмах. Главный стратег Христианской демократии разоблачил провал политики Христианской демократии и подтвердил то, о чем революционное движение кричало на площадях, - вам это не нравится, и вы пропагандируете идею, что он не сказал вообще ничего. Неправда. В Меморнале он демаскировал стратегию напряженности, начиная с пьльца фонтана, раскрыл отношения политиков с секретными службами. Мы требуем вызвать сюда Н., Н. и Н., всех, кого он называл, из исполнительных органов пяти правительственных партий. Мы их выкурим из нор, и будем выкуривать...

Вы здесь не для того, чтобы проповедовать терроризм, замечает судья.

- Письма не подлинные? - говорит другой антагонист. - Но он сам опроверг это утверждение, он отказался от членства в партии, когда понял, что его предали Н. и Н. и кардинал викарий...

- Мы заявляем: все тексты подлинные!

- Где черновики писем? Карабинеры в Милане захватили коричневый портфель с копиями рукописей - они исчезли. Мы контролируем все документы процесса. Мы требуем, чтобы был представлен весь недостающий материал!

Сидя в зале суда в Соро Италико, скользя глазами о сдвинутого лица на других, теряясь порой в итальянской скороговорке, в шепотках, , , толкователь чувствовал парадоксальность или, если угодно, пародийность ситуации: антагонисты брали в союзники свою жертву. Они требовали пропавшие письма как свидетельство в свою пользу или во всяком случае против государства. И сами, как верные союзники расстрелянного, доказывали подлинность писем и Миланского меморнала. Толкователь напоминает: это был роман в письмах - и комментариях к письмам - и декларациях по поводу писем - и именно из-за писем дело 78 года вышло нежелан все прочие детективы с похищениями и убийствами, шантажом, выкупом и т.д. Письма вызвали поток, лавину толкований, в них находили шифр: "Господь да наставит вас к лучшему, - писал протагонист, разумея переговоры и обмен, - чтобы вам не увязнуть

как в болоте в этом печальном эпизоде..." Увязнуть в болоте: быть может это герграфическое указание, попытка описать место, где его держат? "Вчера я прочел письмо от жены и детей, от моего любимого маленького внука... милосердие того, кто принес мне это письмо..." - кого? не посетил ли его тайно некий прелат? В письмах исходили угрожающие намеки: если правительство путем переговоров не добьется его освобождения, пленник будет вынужден выдать государственные и военные тайны. Иначе как объяснить такие стилистические экстравагантности, как "моя кровь падет на вас, на партию, на страну", "последствия будут неисчислимы..." /Предположение о данных особенно парадоксально на фоне детективной версии об американской заго-воре. Если была такая опасность, не следовало ли американцам сказать тоном не терпящим возражений: немедленно освободите его хоть на все содержимое ваших дерьмовых тюрем, и к черту ваш дерьмовый государственный престиж!

Была непонятной фраза из второго письма: "единственным ползательным решением дела - для обеих сторон - было бы освобождение пленник... в политическом контексте." Здесь видели ошибку:

, "уменьшая, смягчая напряженность"; характерная ошибка пишущего под диктовку. Откуда диктовали - из другой комнаты в микрофон? Или с другого конца города по телефону, по радио? Но куда больше смущал и возмущал оборот "пленник обеих сторон", невысказанное, недопустимое уравнивание в правах. В третьем письме уже совершенно недвусмысленно: "... обмен политических заключенных, - терминология резкая, но соответствующая действительности, - чтобы спасти жизни немилых людей, чтобы во имя гуманности дать передышку сражающимся, даже если они по другую сторону баррикады... чтобы не возросла напряженность и государство не лишилось бы доверия и сил." Дать передышку террористам? - читая, не верил глазам; читали - как текст на полупонятном языке, когда слова как будто знакомы, но никак не складываются в осмысленную фразу. Невозможно, чтоб это значило то,

что значит! Но оно все-таки значило. Призывали экспертов-графологов: да, слова написаны слишком близко одно к другому; да, линии почерка свидетельствуют о воздействии наркотиков; так пишут в состоянии психологической прострации; фразы логически бессвязны, а стиль совершенно несовместим с духовным и интеллектуальным обликом того, чья подпись стоит под текстом. Человек под пыткой — иррациональный, а — возможно и физической? Предполагали, что пленник помешался.

Толкователь снова напоминает: это была публичная лекция, и в тех же газетах, где публиковали его обращения, заложник читал: "Нельзя уступать!" и "Ни каких переговоров!"

— В демократической Италии 1978 года, в Италии, родине Беккарини, я приговорен к смерти, как столетия назад: от вас зависит, будет ли приговор исполнен. Или и в помиловании мне отказано?"

И еще:

— Государственные органы обычно мертвы, нерешительны и уклоняются от ответственности — теперь они недолго думая выносят смертный приговор..."

Казнь и смертным приговором он называл незаконное убийство.

И так как все одержимо предавались экзегезе — привычно, традиционно, как это делал Петрарка с античными авторами, а Витторе Брацца с Петраркой, как учителя церкви с Новым и Ветхим заветом, и если кому-либо из теологов этикет не позволяет библейские чудеса толковать буквально, они в них находят символы, аллегории, поэзию, — то в письмах тоже, хотя б из сострадания, искали иной смысл. Но все это продолжалось долго, слишком долго, как в знаменитом "Зонтане" Палаццески —

Страдают нас бедный Зонтан...

От этого вечного вешья я тоже погибну!

Ну ладно немножко, а то ведь все время... вот  
мука!

Викторья, Авель, бегите скорее, заткните источ-  
ники...

Ступайте и сделайте все, что угодно,



Чтоб только умолкнул кашель фонтана,  
пусть даже ... пусть даже умрет он.  
Мадонна! нет сил! нет сил!

Он начал вызывать у всех мучительное раздражение: ах, это письмо — желал бы я никогда не читать его... О если б оно никогда не было написано...

"Трагическое рискует превратиться в смешное. Счета нет коммунистам, письмам, запискам, дня не проходит без обращений к политикам, семье, газетам, наконец папе. Никакая другая почтовая служба в Италии не работает так эффективно и регулярно! Персонаж, который все это пишет — да, это он, конечно, это его possibilities сказались в требовании переговоров, уступок, которые уничтожат самые основы гражданского общества. Это его сарказм и едкая ирония в адрес известнейших его друзей в партии... Но есть нечто абсолютно противоположное всему, что он когда-либо говорил и писал, это его нынешняя логика, по которой он возлагает на Христианскую демократию и государство ответственность за убийство. Убийцы имеют, очевидно, страшную силу, если смогли превратить жертву в адвоката палачей."

Признав подлинность текстов — эту подлинность признали возмутительной.

Е один из ближайших его политических партнеров, недавний соратник в правительственной коалиции позвал свою жену и сыновей и сказал: "Видите: вот эти бумаги писал я, вот мой почерк, моя подпись. А теперь прошу вас: если когда-либо со мной случится нечто подобное и я начну писать и вам покажут мою подпись и мой почерк — отрицайте, отрицайте, отрицайте, что это написано мною..." /Когда все было кончено, этот политик подошел к демокристическому партийному секретарю и обнял его молча. Вслед за ним лидер из коммунистов демокристическому пожал руку и сказал несколько слов сочувствия. Это различие объясняет, быть может, отчего невозможен исторический компромисс./

Первый евангелист занимался экзегезой, как и следует евангелисту: постфактум. Первый евангелист утверждает: тексты подлинные — и эта подлинность делает честь писавшему.

Это шифр, который не умели /не хотели?/ понять. Эдали хре-  
стоматийного *esse* <sup>vi</sup>, Квента Курция, Стоцкого принца и т. -  
д. Как тем как - от хрестоматийных примеров все-таки не уй-  
ти - протагонист явил, быть может, иной героизм, как в том  
эпизоде битвы Горациев и Курициев, где боец обращается в  
притворное бегство - зрители шумно выражают ему презрение -  
а он, таким маневром обманув врага, побеждает. Или как клоун  
, владеющий всяким цирковым ремеслом, искусно разигрывает  
нехловкость и страх на канате. В безмерном превосходстве  
ума и опыта, с безмерной ловкостью политического жонглера  
и эквилибриста он затеял игру в инскавания - чтобы выиг-  
рать время, пока полиция не найдет и не освободит его. Ад-  
ресатам следовало это понять, прочтя в первом письме преду-  
преждения, как бы ключ к шифру: "мне придется говорить в  
манере, которая в определенных условиях покажется неприят-  
ной и рискованной..." Им следовало, - как если б они были  
профессионалы-психологи или опытные лингвисты - догадаться,  
что уравнивание в правах государства и террористов, и филип-  
пик против государства, и оскорбительные личные выпады -  
условность, литературный прием; и догадавшись, включиться  
в игру, тем более он для них разработал подробный сценарий  
и по-режиссерски каждому актеру разъяснил его задачу. Они  
должны были включиться в игру: повести для виду переговоры,  
торговаться, тянуть время... ведь он предусмотрел все мысли-  
мые престижные и правовые возражения - и все постарался оп-  
ровергнуть.

Это сильная версия. Это, пожалуй, лучшее оправдание  
протагониста; и это доказательство, что он в оправдании нуж-  
дается. Потребность его реабилитировать так настойчива, что  
реабилитации уже мало, нужна канонизация. Сильный мира се-  
го в пограничной ситуации прозревает тщету и суетность сво-  
его прошлого, и отрекается от своего прошлого... Протагонист  
*religio* в предвосхищении антагониста *religio*, Великого ка-  
щегося Патрицею Печи, который только в тюрьме открыл для  
себя "серия новых ценностей, например, ценность человечес-  
кой жизни: прежде я об этом не знал." В толковании Первого  
евангелиста пародия опережает оригинал.

Блиман, как известно, прочел Гомера буквально. По Гомеру как по учебнику географии Блиман отыскал Трой — правда, не прилегову Трой, но все же не Вавилон. Толкователь решил следовать примеру Блимана, но должен признаться, что испытал немалые трудности, так как в буквальном чтении песем все нарушения этикета, все неприличия оставались только неприличиями и ничем больше. Будучи русским, толкователь не замешкался с предрассудками о государстве и законности, но у него имелись свои предрассудки не менее прочные. Например навойливая память о христианских мучениках. О непреклонном Джордано Бруно /Галлей — Брехта — не годился потому, что годился слишком хорошо: толкование "семьи" как "Италии", — при таком избытке пародий не хотелось сочинять еще одну; и о французских аристократах, которые ни во что не верили и шли на гильотину с каким-нибудь ироническим афоризмом на устах.

И разве в любом случае не лучше, не достойней писать поперек линованной бумаги обстоятельств?

Оботрадания к себе просил не ребенок и не женщина, но полкитик на вершине власти: для такого риск входит в контракт, и Сенат и народ римский вправе требовать, чтобы император умерал как герой или хотя бы с достоинством. Была, далее, нехловкость в том, что свою смерть он обозначал как "кровавую баню", "бойню", "резню" и предрекал последствия в масштабе Апокалипсиса, — между прочим, как тот шутник 66 года: "Итальянский Освальд принес бы нам стократ худшие беды, ибо если устоял американский гигант с его кауумительной предусмотрительной конституцией, то наша демократия — растение нежное, и его первые почки немедленно испепелил бы огненный ветер гражданской войны". Оба занимались слонизацией мухи: 9 мая 78 года не свернулось небо в свиток и огненный и сорный дождь не пал на Италию, нет, случилась мшизация-горы и кажется даже лира не пошатнулась. Впрочем, 16 марта закрылись кино и театры, и второй раз 9 мая сократили развлекательные радиопередачи.

Далее выходило, что Первый евангелист ему польстил —

если вспомнить персонажей его ранних книг, носителей власти: они безмерно умны — и безмерно циничны, обладают острым зрением и презрением к людям, — так как же может такой человек надеяться на помощь коллег, на верность друзей? Он сам их изобразил в Миланском мемориале — не привлекательными, но куда более зурядными; писатель, видимо, был во власти мифа о том, что до вершины иерархии можно лишь дойти, имея сверхчеловеческие свойства, все равно добрые или дурные. Любая русская или сицилийская старуха увидит нечто дьявольское в человеке рожденном как и все женщиной, но сумевшего стать властелином.

Протагониста считали интеллектуалом, христианским интеллектуалом прежде, нежели политическим деятелем, и интеллектуалами были его друзья. Но интеллектуал знает, что люди друг друга не понимают и не поймут, что они глухи, слепы и одиноки; что не было и не будет ни дружбы, ни разума, ни сострадания, все это иллюзии. Интеллектуал-абсурдист профессионально и конфессионально, абсурд ему полагается как утренняя чашка кофе; интеллектуал не начнет восстания на абсурд, чтобы исправить ситуацию или спасти свою жизнь, потому что для того и другого есть готовая модель: Фозеф К...

Но для протагониста жизнь была вовсе не бессмысленна, и не великий удел, и не нечто претерпеваемое — наоборот, ее стоило отстаивать, а потерять нестерпимо, невыносимо. И свое положение меж двух враждебных симметричных сил он не считал безвыходным — его называли фаталистом — ничуть не бывало — он не хотел смириться, он предлагал проекты, один за другим варианты как из неиссякаемого источника, он обвинял: "Христианской демократии нехватало гражданского мужества..." Когда же незадолго до конца он писал: "Мне все это кажется несколько абсурдным" — абсурд он разумел не как шутку, но именно как ее нарушение.

Если он был интеллектуал, то что же, это христианство так интеллектуала... портит?

Все представления о себе он разрушил и обманул все свидетели: чтобы как-то с этим сладить, свидетелям пришлось

напрягать всю свою способность к состраданию, *pietà*. А когда наконец истощились все запасы *pietà*, антагонисты вместо сомнительного продолжения жизни подарили ему посмертную славу. Все то, что в письмах находили недостойным и несовместным, было тотчас забыто, — никаких писем вообще не было, а был великий мыслитель, и кто же будет его преемником? Нет и не может быть преемника... Его имя включили в список великих людей Италии, а также превратили в технические термины для обозначения параллельных судебных следствий: — *vis*, — *Tea*, сперва писали раздельно, потом через черточку, потом в одно слово.

Большой процесс 82 года назывался тем же именем. Слушая в Соро Италико, как антагонисты упрямо воскрешают Мемориал и остальные полужабытые тексты, и требуют вернуть к жизни черновики, и с жаром защищают подлинность до последней строчки, толкователь вспомнил Орвелла. Уинстон после многих дней наедине с О'Брайеном, который посредством допросов и пыток изучает его интеллектуально-психическое устройство, — Уинстон вдруг догадывается, что О'Брайен его понимает, что О'Брайен единственный, кто его понимает до конца.

Не такой уж плохой выбор, не слишком щедрый, и не так чтобы скудный — между Кафкой и Орвеллом. Но сюда хорошо бы дать.

Впрочем, осенью 78 года затеяли издание трудов протагониста. Один из учредителей на пресс-конференции сказал: "Нам цель — показать единство и преемственность его мысли от молодых лет и до последнего мгновения..." Немеренно неосторожная фраза — и тотчас вопрос: "Так вы признаете подлинность писем?"

Толкователь спросил итальянского священника:

— Это правда, что каждый католик имеет право исповедаться самому папе?

— Да.

— Да, но нужно принадлежать к церкви. Это нелегко, это невозможно, разве что так захочется покоя — до визгу... это был бы исторический компромисс. Хорошо бы исповедаться Т.С.Эялоту, на нем была неинституциональная благодать.

Но если б я принадлежал к церкви, то разумеется к католической по причине общности культурной формации и спиритуалистического, политического и юридического представления о мире. Прекрасно разработанное учение обо всех вещах познаваемых — а непознаваемых, в сущности, не остается, ведь если говорить "не понимаю, почему это так, но верую потому что Ты сказал", то непознаваемое обрывается в чистую условность. Как и "Господи, я недостойн — но скажи только слово..." Недостойность, немедленно опровергаемая, не причинит боли. Замечательно строгое учение, расчленяющее бытие на различные уровни, — каждый автономен, и все вместе примеряется в иерархическом единстве. Католицизм есть царство свободы, где можно даже то, чего нельзя — тактически, поскольку все наперед определено стратегически; закон всеобъемлющий и потому не мелочный, как этикет большого королевского двора дозволяет вольности, немислимы при дворах маленьких германских князей. У св.Сома в Трактате *della Carità* сказано: восстание /бунт, мятеж/ есть грех, поскольку оно есть насилие, так же как и война; но бунт /мятеж, восстание/ это грех специфический, противопоставляемый специфическому же благу, каковое есть единство и мир множества человеческого. Специфичность есть различение: возмутиться против режима, потрясти основы режима, который не заботится, пренебрегает общим благом, не есть ни бунт, ни мятеж, ни восстание, даже если зовутся этим именем: а потому мятеж /восстание, бунт/ подлежит осуждению лишь если приносит зло большее, нежели сам тиранический режим.

Свидетелих возразил, что мысль учителя христианской церкви можно понять в христианском контексте. Начиная с тираничного грех, тирания, общее благо, — св.Сома, например, различает общее благо и Высшее благо, которое и есть цель. Вне христианского контекста это будет мысль вообще, одна из многих социальных, этических, политических — но не мысль Аквината.

— А помните, отец мой, — сказал толкователь, — Блок писал, что эти определения человека как существа социального, этического, гуманного и т.д. — эти определения позади? У Блока даже "эти личности". Родится новый человек: артист. Блок путешествовал по Италии — для нашей темы случайное совпаде-

ние, зато событие громадное для тех, у кого вкус к эсхатологии: Блок писал, что там обожгло его искусство - так обожгло, что он стал чуждаться людей своего круга. Они же, целиком подпадающие под вышеприведенные определения и ими-исчерпанные, просили его уточнить слово "артист". Блок уклонился, отвечал, что сознает неточность термина; впрочем, он говорил: "я художник - значит не либерал". Не гуманист, не демократ - все характеристики отрицательные, как у слова *laico*, так что не знаешь, как его переводить: светский? мирской? Это значит "нецерковный", т.е. определяется только по противоположности: похоже, что быть *laico* достаточно внушительным образом можно лишь постольку, поскольку существует церковь. Люди-артисты, если населят землю, как - смогут между собой устроиться? Очевидно, только при условии тотальной этатизации, - Блоку в итальянском переводе "двенадцати" понравилось "*Liberta, liberta-tra-ta, ta*". Не знаю, можно ли свести понятие "артист" к Рижему-клоуну, пожалуй, все-таки нет. Белый и Рижий у Феллини друг с другом соотносятся как мать и дитя, или учитель и ученик, или даже ангел с плавающим мечом и грешник. Феллини играет в классификацию: папа Пачелли - Белый клоун, Ронкалли Рижий; Эвентари, конечно, Рижий, Пазоллини - Белый во всем обаянии брудизии... Мой консультант по философии говорит, что Христос был рижий - потом его отбелили, но сначала он был рижий, который все делал наоборот: дерзил властям, ломал локти торговцев, и на свадьбе показывал фокусы с водой и вином. Даже апостол Павел был еще наполовину рижий: "я - не делаю того, что хочу, а чего не хочу, то делаю". Христа отбелили - и тот хлеб и то вино нельзя более получить иначе как в церкви: литургия вышла из быта, повседневность отлучена от литургии, но это так мучительно, что нельзя смириться, и с тех пор не прекращаются попытки вернуть Бога, захватить литургию. Герилья есть грубая реальность она с революции, полного заклинаний, пламенных образов, звучащих пророчеств, едienia в причастии /я почти цитирую Вольпони/; вместе с автоматными очередями террористы выпускают декалоги и заветы новой веры, которая грядет. Ви

слышали, как говорит Антонио Саваста. Он фанатик-формул, его мышление спекулятивное, но с ощущением полного тождества мыслительного процесса с вещественным. Он верует, что достаточно сказать слово — и оно будет делом. Эмилия Либера его боевая подруга, в 78 году ей 20 лет, "я голосовала за смерть, — говорит она в 82 году про ту спорную смерть 78-го, — я так голосовала из расчета *zigi gaze* эту смерть в определенных политических целях", т.е. применить, использовать, пустить в оборот: кто хочет пусть возмутится цинизмом этой фразы, меня же поражает эта способность отождествлять мысль со словом и слово с действием. Это не теоретическое мышление — оно и само себя таковым не признает, но это мышление магическое, литургическое. Организация, объясняет Саваста, имела шарнирную структуру, различные ее части входили одна в другую, как в застежке-молнии, но при соблюдении иерархии, так что членство на высшем уровне означало автоматически членство низшего уровня. Тоска по литургии когда-то заставляла еретиков причащаться посреди большой дороги из левой мыски, самовольно: сегодня это называлось бы "граждане против экспертов", и они возможно сами чувствовали, что это рикее причастие — пародия; но лучше пародия, чем ничего, и у них была любовь и братство: хотел бы я посмотреть, что сделали бы с теми, кто причащаться отказывался. Можно преодолеть отчуждение, можно превратить жизнь в праздник — праздник в предельно расширенном значении, т.е. "не-будни", например эреликке публичной казни длиной в несколько часов; праздник — как литургия-хэппенинг, спонтанное освобождение спонтанной стрельбой, причастие огнем и кровью. А также литургия-любовь: *Make love not war*, любовь творите в мое воспоминание. Это будет вершина, высший миг — но необходимо немедленно умереть в этот миг, потому что если остаешься жив, то как вынести отлучение от литургии. Нет большей скорби, чем в будни вспоминать о празднике. Если к несчастью останешься жив, то придется создавать шарнирную структуру и строить иерархию стократ строже, нежели государственная или церковная. И не освобождение любовью будет, но воздержание, умер-



двление плоти: "Мы с женой состояли в организации, - рассказывает одна из кающихся, - но нам не позволяли встречаться наедине по конспиративным соображениям. Нам приказывали соблюдать белый брак". *Make war not love*. Какое тут различие, тут месиво, единство противоположностей. Всякая тварь тоскует по тотальной литургии, тут воистину стар и млад едины, почти как "любовь и голод правят миром" - любовь и голод, которые однако утолить можно только включив в символический ряд; а в литургии происходит слияние символа с принципом и образа с идеей. Не думаю, чтобы это сначала. Потребность освободиться от разума, или от избытка разума, разума никогда не бывает слишком много, его всегда мало, и разум в литургии себя прекрасно чувствует. Простите, что я смешиваю литургию и магию и кое-что другое, - узнав, что мне приходится иметь дело с мифом, я стал вольно обращаться с терминами; и не хочется вводить новое обозначение. Я говорю "литургия", разумея процесс, который начавшись уже не может быть ни прерван, ни остановлен, пока сам себя до конца не исчерпает. В него входят свободно, по своей воле - но едва войдя, больше не могут выйти. Отец мой, я обвиняю литургию за то, что она убивает свободу.

- В вашем рассуждении Бог только тень, очень смутная тень, - заметил священник чуть резче обычного, - присутствие Бога меняет всю эстетическую систему, но ваше о Нем представление слишком расплывчато, оно не языческое и не христианское... как впрочем у всех, кто заново Его для себя стиривает. Кто Он для вас - отец? Или первопричина, или диктатор, власть?

- Не знаю. Мне легче сказать, кто Он не есть: ни в коем случае не Бог ланко из 9 симфонии, литургии ланко, не тот либерально-гуманистический Бог, которому только и нужно, чтобы под звездным небом обнимались миллионы. От литургии не уйти, и я спрашиваю: возможно ли искупление литургии?

## Апокриф-78

Гвидо Виале, один из исторических лидеров экстремн, 20 апреля обращается к рабочим:

- Вы что это, товарищи, расчувствовались? Кого вы пожалели, вы забыли, что это за человек: враг рабочего класса, христианский демократ, синьор - и еще плюс ко всему еще сразу обдалахся, едва его тронули, а ведь с ним обошлись не строже, чем обычно обходятся в полиции!

## Апокриф 82

Председатель суда спрашивает у свидетельницы - жены протагониста:

- Уверены ли вы, что письма были подлинны?

- Конечно. Это его рука, его мысль, в письмах содержались определенные указания. Ума бы хватало, и даже не очень большого, чтобы все это прочесть правильно...

- Но ведь человек может измениться, стать другим в условиях смертельной опасности. Меняется его стиль мышления, его чувство объективного...

- Послушайте, - отвечает она, - думаю, что я его знала лучше, чем кто-либо другой. Не раз я видела его в минуту опасности, и я говорю: этот человек не знал страха...

## Хроника

- Мы достигли цели, мы уничтожили политику национальной солидарности вместе с ее стратегом, - сказал в 83 году в последние минуты процесса антагонист из нераскаявшихся. Возможно, что так: такова общепризнанная версия, и политика национальной солидарности, или союза коммунистов с Христианской демократией действительно не имела продолжения. Но было ли это их целью? Возможно, это честолюбивая ложь, как если бы Пинат задним числом объявил своей целью создание христианства. Объединяясь с властью, коммунисты теряли право называться оппозицией, единственным носителем гордого

титула оставалось подполье; стиние быть оппозиционером значило стать союзником террористов: чистая прибыль, от которой политик вряд ли откажется.

В таком предположении хроника следует начать не с 16-го а с 9 марта, когда в Турине открылся судебный процесс Первого антагониста, лидера и основателя организации. Надо было сравнить счет — Святой Отец или президент республики уравновесил бы Ренато Курчо, и не менее внушительно — герой настоящей хроники. Первый антагонист немедленно заявил: "Я раздаю, я принимаю на себя ответственность за виа Ф., военная структура организации была нами разработана с самого начала". "Всю вашу банду мы и судим", — ответил судья.

"Банду, — возразил Первый антагонист, — у которой в руках президент Христианской демократии." "Доколе, о Катилина", говорит Цицерон, а Катилина в ответ: "Мы захватили Цезаря и Ромула и волчицу." Два параллельных суда и двое подсудимых: все 55 дней они противостояли один другому на равных. Общественное мнение риторически торговалось: обменять одного на тринадцать? одного на пять? Нагляднейшей была формула "одного на одного" — и 9 мая толпа кричала: "Смерть Курчо!"

16 марта на улицы вышли толпы — впрочем не беспорядочно, а четко организованные по признаку общности культурной формации, или христианской духовности, или политического представления о мире. Всякая группа шла со своим плакатом — с названием профессии, учреждения или убеждения; неповторимая особенность была в том, как близко одно к другому оказывались красные флаги и демохристианские с крестомосным щитом. "Две силы, каждая со своим историческим опытом, со своим способом постижения мира и человека: между ними имеются глубокие различия, а также ограниченные совпадения. Во внимательном уважении к этим различиям и совпадениям становится возможен социальный, экономический и политический прогресс. Мы /демохристиане/ можем по праву гордиться своим вкладом — не заграждая, однако, себе путь к деятельной и свободной трактовке реальности. Если сегодня наша трактовка окажется неадекватной или негативной, дух всеобщего согласия, покынув нас, перейдет к другим в обстоятельствах

достаточно драматических. Нам нужен политический диалог, грандиозный спор об идеях — в правительстве, в парламенте, во всей стране; мы призываем к дебатам — это значит, что оставалось верны себе, мы не хотим оставаться в одиночестве...» Этот теоретический, гипотетический, — верней интонационный набросок протагонист сделал 18 января 69 года; здесь нет ни намека на возможность союза, но имеющие уши да слышат, и исторический компромисс, изобретенный четыре года спустя, не был ни пропагандистским приемом, ни безумной фантазией. Весной 78 года это называлось национальной солидарностью: «никогда еще нация не была так едина, — сказал один политик, — хоть какое-то утешение в этой ужасной истории». 13 мая, впервые преступая традицию, папа римский служил мессу в Сан Джованни ди Латерано, и в присутствии всего дипломатического корпуса рядом преклоняли колени коммунисты и христианские демократы; заупокойная месса стала апогеем исторического компромисса, и союзники с ним покончили в башмаках не вынося. Впрочем, едва ли корректно уровень реальности ставить в зависимость от продолжительности явления, в которых она себя утверждает.

16-го в четверг полиция увидела на виа С. убитых, брошенные машины и пустое заднее сиденье одного 130, откуда вытащили протагониста, прихватив также два портфеля с документами. Его увезли — неизвестно, живого или мертвого, но уже на завтра было впервые сказано: «никаких переговоров!» 18-го в субботу похитители подбросили фотографию, которую все газеты воспроизвели на первых страницах; ее вслячески анализировали и комментировали. Установили марку фотоаппарата; снимала умелая рука, снимок сделан в помещении, без вспышки, — какой же был источник света? Об этом гадали — и чуть ли не разглядели в глазах фотографируемого отражение лампы. Увидели, что он без пиджака и заметили, что на нем какая-то другая, не его рубашка: быть может, в момент нападения рубашку разорвали, или он был ранен? Но на сиденье автомобиля не было крови. «Жив, слава Богу», повторял Н., ближайший друг и коллега, вглядываясь в фотографию.

Означало ли это, что далее все пойдет по аналогии с делом Сосси, делом Лоренца — или делом Кляфара?

Вместе с фотографией появилось 1-е коммюнике.

Насовой отряд нашей организации захватил и заключил в народную тюрьму президента Христианской демократии. Его вооруженная охрана, состоявшая из пяти агентов пресловутого спецкорпуса, полностью уничтожена.

Известно, что Христианская демократия имеет в нем своего авторитетнейшего, после Де Гаспери, иерарха, теоретика и беспорочного стратега своего ранга, который 30 лет подавляет народ Италии. На каждом этапе империалистической контрреволюции, которую эта партия проводит в нашей стране, он был крестным отцом и вернейшим исполнителем директив, исходящих от центров империализма. Незачем перечислять, сколько раз он был премьером или членом правительства в ключевых министерствах, и его бесчисленные должности в руководстве ХД /все это широко документировано и подвергается своевременной оценке/, здесь достаточно подчеркнуть его максимальную и прямую ответственность за каждый фундаментальный политический выбор, сделанный открыто или тайно во исполнение контрреволюционных планов империалистической буржуазии.

Товарищи,

необратимый кризис, переживаемый империализмом, ускоряет распад его власти и господства, и одновременно служит запальным януром для приведения в действие механизмов глубокой структурной перестройки, которая должна подчинить нашу страну тотальному контролю транснационального капитала и окончательно поработить пролетариат. Происходит трансформация европейских национальных государств либеральной модели в государства транснациональные империалистические: этот процесс полностью развернут и в нашей стране. Такое государство, перестраиваясь, готовится к роли приводного ремня глобальных стратегических экономических интересов империализма и одновременно организует превентивную контрреволюцию, чтобы пресечь малейшее революционное пополнение пролетариата.

Для выполнения столь претенциозного проекта требуется предварительное условие: создание соответствующего политического, экономического, военного персонала. В последние годы этот политический персонал, тесно связанный с империалистическими кругами, захватил первенство всех партий так называемой конституционной арки, однако имеет свое главное оплотнение и принципиальный ориентир в ХД. ХД есть центральная и стратегическая сила государственной власти. В рамках стратегического единства империалистических государств их главнейшие властители именно у ХД требуют действий на национальном уровне контрреволюционной политики. Машина демократической власти, трансформированная и обновленная, и новый режим, ею представляемый, должны преобразовать национальное государство в действительное звено империалистической цепи и проводить глубокую перестройку институтов, чтобы они могли осуществлять открыто репрессивные функции, которых требуют главные партнеры: США, ФРГ.

Этот режим, эта партия — сегодняшний национальный, прикормно эффективный филиал центра величайшей международной преступности, какую когда-либо знало человечество. Революционный авангард в свое время определил ХД как самого жестокого врага пролетариата, как самую коварную реакционную клику. Сегодня — после кровавой политики 50-х годов, после "левого центра" и "соглашения шести" — одного этого определили уже недостаточно. Сегодня нужно выкурить агентов контрреволюции из их демократических нор, всячески замаскированных, и охотиться за ними повсюду, не давая им ни передышки, ни передышки.

Необходимо расширить и углубить судебный процесс над режимом, который сражающийся авангард уже ведет посредством своей боевой практики. Это одно из направлений, на котором Пролетарское Движение Наступательного Сопротивления атакует и расстраивает империалистические планы. Потому да будет ясно, что захватив президента ХД и отдавая его под суд народного трибунала, мы не имеем в виду "донгривание партии" или достижение символического эффекта, но намерены, развивая лозунг Движения Наступательного Сопротивления, сделать его более скандальным, более зрелым, более четким и

организованным:

развернуть широчайшую и единую вооруженную инициативу;

атаковать транснациональное империалистическое государство;

расстроить структуру, планы империалистической буржуазии, атакуя политический, экономический, военный персонал, ее представляющий;

объединить революционное движение, создать боевую коммунистическую партию.

За коммунизм.

/подпись/.

16 - 3 - 78

/Дополнение/ 1. О турецком процессе. Мы говорили уже, что процесс, в ходе которого спецтрибунал намерен ликвидировать коммунистическую революцию, не может быть ничем иным как фарсом. В стране ведется другой процесс, обвиняющий буржуазию и ее прислужников, развивавшийся в гражданской войне для создания коммунистического общества. Итак, пусть продолжается фарс, инсценированный в Турине: мы повторяем и подтверждаем то, что там уже сказали наши товарищи: единственное отношение между борцами нашей организации и спецтрибуналами - это война. Мы считаем наших пленников товарищей заложниками в руках врага, и все возможное в будущем репрессии будем называть их настоящим именем: военными преступниками.

2. Оповещаем пролетарское движение, что вся без исключения пресса режима проводит кампанию психологической контр-герильи, чтобы сеять смятение, дезориентацию, "фальшивое сознание". Поэтому все материалы суда над президентом ХД будут переданы гласности, как и ранее наша организация всегда предавала гласности все касающееся ее политической линии и ее боевой деятельности. Все коммюнике будут печататься на одной и той же пишущей машинке: вот этой".

Теперь все определилось. Государство не шантажировали, у него не требовали ни уступки, ни выкупа, не требовали ничего, с государством вовсе не разговаривали: коммюнике сб-

радалось к народу. У государства оставалась полиция, и полиция работала, газеты без конца печатали фотографии карабинеров, собак, полицейских автомобилей. Огромные толпы пришли на похороны охранников, и много дней и недель приносили цветы на виа Ф.

Ничего не произошло 20-го; ни 21-го, ни 22-го. Политики обращались к публике с краткими уведомлениями: будьте выдержанны, продолжайте обычную работу. Нашего друга и коллегу мы храним в сердце своем и делаем все что можем. Мы живы! Тверды и не пойдём ни на какие уступки.

В прессе, по телевидению отсчитывали дни: шестой, седьмой, восьмой. На девятый день антагонисты прервали молчание и выпустили 2-е коммюнике. Оно извещало, что заключенный содержится в народной тюрьме, что идет судебный процесс, материалы которого будут печататься: так действительно было в 74 году во время дела Сосси, — имитируя официальные судебные протоколы, публиковали вопросы и ответы; в 78-м они обещания не исполнили.

В печати шел спор: надо ли публиковать документы террористов? Т.е. делать мы рекламу; с другой стороны задача прессы есть полная информация. Применяли компромисс: печатали коммюнике с редакционными комментариями, чтоб избежать возмутительного сходства с официальными документами.

26-го марта была пасха. Молоденькая девушка, украденная и потом отпущенная за выкуп, вспоминала: "Со мной обращались по-хорошему, даже дали яичко на пасху".

Во вторник 29-го на 14-ый день произошла сенсация.

"Заключенный пожелал написать секретное письмо /демократическая мафия всегда срудует так/ правительству и именно главарю сборов Н. Ему было разрешено, — но так как ничто не должно быть скрыто от народа, то мы, согласно нашему обычаю, это письмо передаем гласности."

— Дорогой Н., приветствую тебя и предлагаю твоему вниманию, по причине налегких обстоятельств, а также ввиду очевидного уважения к твоей ответственности, некоторые достаточно обдуманые суждения. Эмоциональные мотивы оставляю в стороне и держусь фактов. Какого бы рода события ни



происходящих после моего устранения, мне было сказано совершенно ясно — и это не подлежит обсуждению — что я нахожусь на положении политического заключенного и отдан под суд в качестве президента ХД для выяснения всей тридцатилетней моей ответственности /политический процесс, который ведется со все возрастающей строгостью/. В таких обстоятельствах пишу тебе конфиденциально, чтобы ты и прочие друзья /разумеется, информируя президента Республики/ могли бы поразмыслить своевременно о том, что нужно делать во избежание худших бед; подумать следует основательно, прежде нежели возбуждение сделает ситуацию иррациональной. Полагаю, что тяжкое обвинение, мне предъявленное, обращено против всего руководства ХД в его совокупности: поистине, в суду привлечены мы все и я должен отвечать за наше общее дело. В подобных условиях более всего существенно, — помимо соображений гуманности, которыми вряд ли можно пренебречь, а также интересов государства, — что я нахожусь в полном подчинении и под абсолютным контролем, в народный суд, которому я предан, — может перейти в иную стадию, в этом положении, как я чувствую и сознаю по долгому опыту, мне, быть может, придется говорить в манере достаточно неприятной и рискованной, в определенных случаях опасной. И далее, доктрина, преимущественной целью полагающая не допустить для похитителей выгоды /принцип спорный даже в обычных уголовных делах, поскольку очевиднейшим образом может вредить похищенному/, безусловно непригодна на уровне политическом, где неисчислимы вредоносные последствия не только для личности, но и для государства.

Во имя абстрактного принципа законности жертвовать невиновными, тогда как по бесспорной логике необходимости они должны быть спасены, — это недопустимо. Проблемы, подобные этим, решают позитивно все государства мира, кроме Израиля и Германии /исключая дело Лоренца/. Напомню в качестве примера обмен между Брежневом и Пучетом, многочисленный обмен шпионов, высылку тысяч за пределы советской территории. Если государство не сумело или не смогло предо-

тратить похищение какого-либо значительного лица, это еще не означает потерю престижа. Я понимаю, сколь тягостно оказаться перед подобным фактом, но должно с ясностью видеть худшие последствия. Таковы превратности герильи, которые следует оценивать хладнокровно, без эмоций, сообразуясь с политической ситуацией. Полагаю, что были бы полезны некоторые предварительные действия со стороны Святейшего Престола /или других? кого?/, а также по соглашению с президентом Республики осторожнейшие контакты с некоторыми значимыми политическими лидерами; нужна готовность преодолеть неизбежное при этом сопротивление. Неприемлемая позиция была бы слабочна и нереалистична. Да поможет вам Господь не увязнуть в этом прискорбном деле, от исхода которого будет зависеть слишком многое. Дружеский привет..."

Он ввел в игру государство — насильно, как тащат пса за ошейник. И вот лейтмотив тех дней: "государство не должно терять голову!"

*Ridioniego* переводится как "пленный" и "заключенный", "узник", прилагательное "политический" дает однозначный смысл "политзаключенный". По итальянской традиции узников совести избирают в парламент, так вытаскили Мизнано из австрийской тюрьмы. Протагонист еще с 48 года был парламентарием, поэтому в печати предложили избрать его сразу президентом Республики, тем паче что он был вероятнейшим кандидатом на предстоящих через полгода выборах. Была ли это серьезная попытка — Бог весть, но она делала двусмысленным положение главы сената: он по конституции был обязан замещать президента в его отсутствие — и следовательно мог ожидать обвинений в нечистой игре. Христианская демократия отказалась.

31 марта стало известно, что Ватикан желал бы посредничать... в переговорах? Каких переговорах? Антагонисты это слово не произносили, государство твердило "нет" переговорам, которые его не приглашали вести; переговоры существовали только в письме заложника. И были, по слухам, еще новые письма.

Во вторник 4 апреля появилось 4-е коммюнике. В тексте была опечатка: "чрезвычайная ситуация", тщательно воспроизведенная и злобно комментированная.

"Пролетарское Движение или Наступательное Сопротивление" считает процесс президента Христианской демократии частью общего процесса над режимом, процесса, который разрушит машину империалистического угнетения. Народный трибунал не ведает ни сомнений, ни колебаний, ни еще того менее двойных или секретных целей, но судит подсудимого и его партию в соответствии с тем, что ими сделано и делается против пролетарского движения.

Пресса, служащая режиму, пытается приписать нашей организации ту инициативу, которую пленный собственноручно изложил в письме к Н.: маневр и коварный, и неловкий. Напротив, текст показывает с ясностью, которая не по вкусу демохристианской шайке, что это его точка зрения, а не наша. Во втором письме — которое мы передаем и предаем гласности — он снова обращается к другим демохристианам, призывая их к ответственности за прошлое и настоящее /их иная, — подлинная ответственность перед пролетарским движением включается в ходе допросов заключенного/. Он предлагает им рассмотреть его положение политзаключенного по аналогии с положением борцов-революционеров, заключенных в тюрьмах режима: эта его позиция не лишена политического реализма относительно классовой борьбы в Италии, но не лишена подчеркнуть, что это не наша позиция.

Мы не раз заявляли, что один из основных пунктов нашей программы — освобождение всех пленных коммунистов и уничтожение концентрационных лагерей. Эта боевая линия революционного движения уже отмечена победами, как показывает отвоеванная свобода товарищей из тюрем Казале, Тревизо, Форли, Поддуски, Лечче и т.д. Разумеется, мы используем любую возможность освобождения тех, кого держат заложниками империалистическое государство, но отвергаем пропагандистские попытки режима навязать нам методы, какие он сам применяет: секретные переговоры, тайные посредничества, маскировку фактов. Процесс президента ХД будет продолжаться,

приговор последует, и никакие мистификации спецнахистов психологической контргерильи его не смогут изменить."

- Дорогой Н., пишу тебе с тем, чтобы обратиться к Н., Н., Н. <sup>х)</sup> и всем, кому вместе с тобой следует прочесть письмо и принять на себя ответственность личную и общую. Я понимаю прежде всего ХД: за обвинения против нее направленные, я призван платить с последствиями, которые нетрудно представить. Здесь и другие пертин в игре, но ХД первая должна решать эту ужасающую проблему совести и действовать, что бы ни сказали или скажут другие. Я понимаю прежде всего КИ, которая сколь бы уместным ни считала взывать о непреклонности, должна помнить, что мое драматическое устранение произошло в момент, когда палата собиралась благословить новое правительство: на его создание я положил немало труда. Впрочем, теперь, в этой злосчастной ситуации, мне следовало бы напомнить, как до последней крайности я противился, и повторял и мотивировал свой отказ от президентского поста, который ты предлагал мне: из-за него я сегодня оторван от семьи, меж тем как ей я более всего нужен. Где я физически, там духовно тебе надлежало быть. И наконец еще нужно добавить, что не будь охрана, - по административным соображениям, совершенно не соответствующей тому, что требовала ситуация, я, быть может, не был бы здесь.

Все это в прошлом. В настоящем же я под судом, против меня ведется нехороший политический процесс, и можно предвидеть его развитие и последствия. Я политический заключенный, которого ваш резкий отказ от какой бы то ни было дискуссии с другими политическими заключенными, находясь в равных со мной условиях, ставит в невыносимое положение. Времени мало, к несчастью, оно бежит быстро, минута промедления - и будет слишком поздно. Далеко не в отвлеченном праве - хотя и оно заметно меняется согласно логике необходимости - но о человеческой, политической возможности разрешить мою проблему единственно реальным образом, а именно осуществить двухстороннее освобождение политзаключенных и тем ослабить политическое напряжение. Может пока-

заться, что твердость более уместна, но некоторая уступка была бы не только правильна, но и политически полезна. В таком духе действуют, как я напоминал, многочисленнейшие цивилизованные государства. Христианская демократия найдет в себе мужество, которого не хватает другим, ибо она обладает замечательным свойством ориентироваться в труднейших обстоятельствах. В противном случае неминуемые последствия падут на партию, на вас самих, и это произойдет — я говорю беспристрастно — по вашей собственной воле. Цикл будет завершен — начнется новый, страшный и безвыходный.

Подчеркиваю: все это я говорю в совершенной ясности разума и не по принуждению; с той по крайней мере ясностью, какая возможна для человека, который пятнадцать дней <sup>х)</sup> находится в чрезвычайной ситуации, который знает, что его ждет и ни в цивилизованном ком не может найти утешения. Помогите, мне иногда кажется, что вы меня оставили. <sup>хх)</sup> Но я уже высказывал эту мысль Н. о деле Сосси, и Н. относительно спорного закона против похищений. Это долг мой — сообщить и призыв; исполнив его, я обращаюсь мыслями к Богу, к моим близким и самому себе. Не будь у меня семьи, которой я столь нужен, все было бы несколько иначе. Но так и в самом деле требуется мужество и щедрость бесконечная, чтобы платить за всю Христианскую демократию. Господь да просветит вас, не медлите, такова необходимость. Дружеский привет..."

---

х) Написано 3-го марта?

хх) Этот пассаж стал предметом критики автора коммюнике, которое он начал комментарием: "Президент ХД утверждает в своем письме, что находится в "чрезвычайной" ситуации, лишен "утешения" своих сообщников, и прекрасно сознает, что его оштрафует. В этом единственном случае мы с ним согласны. Один из высших иерархов ХД предан народному суду, должен отвечать перед народным трибуналом за 30 лет демохристианского режима, и суд народа идет своим путем с очевидной твердостью: такая ситуация доньше была действительно "чрезвычайной". Но положение вещей меняется. Атака, начатая революционным авангардом против демохристианской власти, преобразует эту ситуацию..."

"Это текст, духовно - нравственно несовместный с его... именем!" - было сказано кем-то из коллег. "Чудовищно", сказал другой. Комментарий психиатра: "По черк свидетельствует о состоянии психологической протрации."

Другой комментарий: "Да, это не он, - но кто в его положении оставаясь бы самим собой?.. Он говорит с нами из иного универсума, из языка насилия, где человек восстал на человека - и с уст его срываются невольно библейские реминисценции: *qua esivi; consolatore et non inveni* и "почто меня оставил..."

Поэтому, продолжает комментатор лингвистический анализ, нельзя отнять у него право на эти "письма из тюрьмы",<sup>х)</sup> нельзя "избавить" его от авторства: письма эти есть выражение его наиболее пережитого /опыта/, его Свидетельство... Заключенный в механизмах насилия, он теперь глубже нежели прежде может постичь истоки этого насилия, которое Италия, старинную обитель "сладкой жизни", сделало страной единственной в своем роде и ужасающей. Но человек, пишущий эти письма, человек, который видит перед собой только ненависть, мятеж и смерть, не впал в отчаяние. Неопыта не коснулось его сердца: он может обратиться мыслью в Богу, к своим любимым, сосредоточиться в себе. Христианская вера может признать эти письма своими, - даже если мир по праву их отвергнет, найдя несовместимыми с личностью лидера уравновешенного, осмотрительного, уважаемого..."

Протагонист ссылаясь на свой разговор 74 года с Н. - об удручающем положении, об одиночестве заложника; "разговора не было", отвечал Н. Допрашиваемый журналистами, он сказал: "я не намерен полемизировать с листовками террористов." Это вызвало взрыв гнева у пленника: "я напомню забывчивому Н. - забывчивому не только на этот случай..." И он перечислял головокружительные и взумляющие политические виражи Н. и многое другое и упомянул о симптомах психологического регресса; в сопроводительном коммюнике антагониста назвали Н. "государственным банкротом".

Пленный настаивал: "это факты подлинной герильи, которая несводима к обычным уголовным преступлениям... Происхо-

х) Не слишком лестное напоминание о Грэмми.

дядя процессуальная дуэль не только тягостна для того, кто ее переносит, но также вредит интересам государства... Надо оценить весь комплекс политических соображений - и не воздвигать немедленно непроницаемую преграду против тех законов мудрости и человечности, которым следуют цивилизованные народы мира, законов, которые в обстоятельствах печально аналогичных, внушают разумную гибкость, - эти законы отвергает Италия, как если бы она была наикрепчайшим государством мира, материально и психологически оснащенным для того чтоб идти впереди Соединенных Штатов, Израиля, Германии /исключая дело Лоренца/.."

Антагонисты тоже повторяли: "Пресса режима продолжает распространять фальсификации и мистификации о "секретных переговорах", но это исключено: наша организация не может вести с режимом никаких секретных переговоров. НИЧТО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СКРЫТО ОТ НАРОДА!"

Этот обмен репликами становился привычным. Прошел 25 день и 26 день, как причина и повод пережить еще и еще день. Антагонисты продолжали свой судебный процесс и симметрично свой государство - в Турине; там один из персонажей, обвиняемый в покушении на чиновника судебного ведомства, говорил: "Я стараюсь в тогу - что подделаешь, если под тобой человек?" В тогу - в мундир - в либерально-демократическое государство: что есть демократия, в марте объяснял Гарэн: "если верно, что демократия по смыслу слова - образ жизни свободных народов, то верно и то, что она ужасно хрупка..." Однако когда 16-го марта требовали объявить чрезвычайное /осадное/ положение, государство воздержалось, демократия устояла: этим можно гордиться, и этим гордились по праву. Хрупкость демократии в том, продолжает Гарэн, что она хочет воспитать в свободе и методами свободы также и тех, кто ее отрицает, кто отвергает правила игры. Тождественны свобода и разум, свобода и культура, нужна сила, способная победить насилье сама не становясь насильем: сила свободы, культуры, разума, всегда во всеоружии, как Афина...

Иначе говоря, Рыжий клоун будет грешить, но Белый не обрушит на него карающий меч; Рыжий, как дитя, будет ломать

и бить, а Великий воспитатель продолжит увещание. В тот момент что это означало конкретно: переговоры? Но стороны не приглашали одна другую к диалогу. Наступил 28-ой, 29-ий, 30-ий день, партнеры выжидали; общим эстетическое чувство указывало на завершенность фрагмента.

В эти дни начинался Миланский мемориал — его прочтут через полгода, но в хронике эта посмертная публикация должна занять свое место.

"Прошло немало времени с тех пор как я стал политическим заключенным; это было, в соответствии с природою вещей, нелегко и достаточно поучительно. Различные стимулы побуждали меня к размышлению и углубленной рефлексии, и постепенно события политической и социальной жизни, часто столь бурные и хаотичные, обретали свой ритм и порядок, представлялись внятным разуму. Мотивы критики и сомнения, прежде лишь мимолетно тревожившие сознание, в новых обстоятельствах представлялись несравненно более убедительными и вызвали неутихающее беспокойство. Являлась настоятельная потребность пересмотреть полностью и беспристрастно весь свой человеческий, социальный, политический опыт. В раздумьи о недавнем прошлом с его противоречиями и напряженностью как естественное сравнение вспоминалась молодость, времена уже далекие, когда многие из нас совершили переход почти автоматический и ставший очевидным и понятным уже в новую историческую эпоху: переход от опыта католической деятельности, который имели почти все демохристиане, к опыту собственно политическому..."

В Мемориале страницы и страницы политического, с историко-философским акцентом анализа: стратег и теоретик, автор по меньшей мере двух примечательных суждений об Италии /"страна, где страсти вечны, а структуры хрупки", а также: "управлять Италией не то, чтобы трудно, это просто бесполезно"/, предавался привычному занятию — созерцанию, интуитивному постижению, завершающемуся рождением мысли во плоти слова. Читая, забываешь, в каких обстоятельствах это написано, — возможно, забывал и сам писавший, возможно, писал, чтоб забыть; но он вспоминал — и тогда появлялись в



тексте групповые портреты, и текст прорезали прямые обращения /ведь надеюсь вначале на калейность, он смирился с публичностью своего эпистолярного романа с государством, и потом уж именно на публичность рассчитывал/: "...теперь мне остается лишь констатировать полную мою несовместимость с партией Христианской демократии. Соответственно я и буду действовать, если они <sup>х)</sup>, по великодушью своему вернут мне жизнь и свободу, возвратят меня семье /глубочайшая им за это благодарность/. Отказываюсь от всех постов, отвергаю возможность какой бы то ни было кандидатуры в будущем, выхожу из партии ХД, прошу председателя палаты перевести меня из парламентской фракции ХД в смешанную группу. Свои действия не комментирую и комментировать не намерен, ни даже в ответ на комментарии других." - Как если бы он сейчас слышал комментарии и видел комментаторов воочию, верных, как и он, своему амплуа, и сводил счеты; как если бы ни для них, ни для него ничто не изменилось. На самом деле они далеко ушли - или он от них удалился. В тексте говорится о 20 днях плена: это первые числа апреля, хотя иной раз он ошибался, считая дни. Антагонисты с ним обходились действительно жестоко; можно предположить ремиссию после шока. Приспособляемость, как говорил легкомышленный консультант-философ, - чуть не на самом кресте можно два часа провисев, на третьем притерпеться: умереть в первую минуту значило бы возвыситься до античного идеала - выше страха и надежды: шок наилучшим образом освобождает от страха и от надежды, а также от многого другого, ведь позволительно предположить, что в христианском универсуме личности надежда и страх имманентны, надежда и страх есть способ существования личности. Это была бы не героическая ни мужественная смерть, но только безличная. А потом, сколько бы ни продолжалась первая минута, она миновала, и страстная пятница прошла 24-го марта, явилась реальная, конкретная надежда на избавление, обмен, переговоры. Миновала первая смерть, которая была бы фатальной и легкой - возможно, именно поэтому вторая стала нестерпима как нелепость, бессмыслица.

... С чувством глубочайшего стыда замечает толкователь,

что оправдывая приятный псевдоним, поддался порочной страсти к экзегезе и хуже того, к психологическим гипотезам. Бестактно это бесцеремонное обращение с беззащитными текстами, единственное возможное оправдание в том, что они становятся достаточно отвлеченными в грядущем мифологическом контексте; но если так, то эти тексты приглашают и даже вызывают к толкованию. Не хранить их следовало, зарыв в землю, но пускать в оборот снова и снова, пусть делаются, вплоть до банальности, общим достоянием и повторяются вервь и вкось на разных языках; пусть будет им как тому зерну, которому, чтобы жить, надо умереть.

Но Микеле Бакке история народа, расы, цивилизации не имеет смысла в истории отдельного человека, а не наоборот: но это наоборот быть может только видимостью, это такое смышленое наоборот, что оборачивается тождеством: выстраивается и держится все та же причинно-следственная цепь. Толкователь предпочел бы историю даже одного человека свести к случаю *l'caso, l'affaire* — и по английской юридической традиции идти от прецедента. Прецедент не покрывает полностью каждое новое равноправное дело, которое всегда уникально, но именно тогда ярче светится уникальность, когда установлено сходство. Герой, по знаменитой схеме, делает выбор — формула Бакки применима, если предположить, что вместе с ним делает выбор вся цивилизация: был ли этот выбор свидетельством силы или слабости? славы или позором? Или тут было нечто третье, и на наших глазах создавался некий новый прецедент, и стоило заново поискать ответ на вопрос: что значит писать поперек линованной бумаги. У Кальдерона Стойкий принц сам настаивает, приказывает и заклинает не сдавать Сеуту в обмен на его освобождение и умирает в плену; Кальдерон так настойчив в описании обвисевшей головы, зловонных лохмотьев и заросших щек, предельного физического унижения принца, что впечатление получается двусмысленное: то ли трогательно, то ли противно. Это по-христиански очень похвально, но уже не сладостно и почетно по-древнеримски: Кальдерон допускает контаминацию Рима и Христа, когда римские гражданские доблести *esse vir* перекрыты феноменом *esse homo* — перекрыты,

но не перечеркнуты и потому как будто соразмерны и совместимы. Толкователь мог бы представить разоблачаемое дело, как модель взаимоотношений между законами истории / исторической необходимостью / и свободой; и далее, поскольку он видит покойные римские доблести воплощенными также и в Соэфе К., то может строить модель взаимоотношений между абсурдом и свободой, свободной волей, которая по словам консультанта получает смысл лишь в контексте христианства. История как процесс и абсурд как процесс со своей непостижимой логикой имеют одно общее свойство: однажды начавшись, продолжают подобно литургии, и закончиться могут только сами себя исчерпав.

На 31 день очередной ход в игре сделали антагонисты. В субботу 15-го апреля вышло 6-е коммюнике.

"Следствие по делу президента ХД закончено. Как можно было предвидеть, допросы заключенного не дали никаких сенсационных результатов. Какие еще могут быть тайны у этого режима, начиная с Де Гаспери, которых пролетариат не знал бы и за которые не платил своей кровью? Центризм, левый центр, стратегия напряженности — вот всем известные приемы, с помощью которых ХД и ее сообщники 30 лет держали под ярмом империализма нашу страну. Известны жесткие условия эксплуатации; известно, как та часть пролетариата, которую транснациональный капитал не считал пригодной для использования, приговаривалась к нищете и аутсайдерству. Известен террор и кровавые бои, которые устраивали фашистские наемные убийцы и государство.

Поэтому мы не ставим себе целью добиваться каких-либо сенсационных разоблачений: наша задача — организовать пролетариат, создать силу, которая приведет в исполнение приговор государству и его прислужникам. Разумеется, в ходе допросов заключенного были разоблачены подлинные сообщники режима и названы имена тех, на ком лежит ответственность за самые кровавые страницы в истории последних лет: память ему не изменила. Обнажились интриги и круговая порука государственных убийц, переветанные кормотных интересов, коррупции, кланов, которое связывает воедино различных пер-

снажей из прогнившей демохристианской шайки, а также из других партий /кого это может удивить?/. Как мы говорили уже, все будет объявлено народу.

Суд над президентом ХД на этом окончен. Этот суд был не более, чем этап, эпизод более широкого процесса над государством и режимом. Его ответственность — это ответственность государства, его вина — это вина ХД и режима, которые будут разбиты, сметены и рассеяны боевыми коммунистическими силами. Подсудимый признан виновным и приговорен к смерти. 14 апреля 78 года."

— Этот приговор, — сказал судьям в Турине Первый антагонист, — имеет силу для всего вашего класса.

С этого момента ритм событий меняется резко и мгновенно. Красный Крест, Международная Амнистия, Каритас Интернационалис заявляют, что готовы вмешаться, готовы посредничать — у них достаточно доброй воли, но нет представления, как конкретно явить добрую волю. Остается просить антагонистов о гуманности и милосердии, и все просят, включая Генерального секретаря ООН; государство-антагонисты по-прежнему оставляют вне игры, если не считать, что полиция их пытается выследить вот уже 33 дня. 16-го и 17-го они молчат, зато неизвестный звонит в редакцию газеты и говорит: "Казнь произошла в 22 часа". Это какой-нибудь случайный шутник из тех, кому нравится зря вызывать пожарную команду. Семья приговоренного у себя дома на виа Э.Т. 79 словно в осаде, полиция не удается разогнать толпу репортеров и любознательных.

18 апреля: коммюнике № 7 и одновременно анонимное сообщение о том, что заложник покончил с собой; коммюнике же приглашает искать расстрелянного в овраге в горах. Наконец — то государство может действовать: обжигивает цепь озер, летают вертолеты, работают альпинисты и спецкоманды по полю в снегу; множество собак. Так прошло 19-е апреля.

20-е апреля: коммюнике 7-бис.

"СВОБОДУ ВСЕМ ПЛЕННЫМ КОММУНИСТАМ."

В концлагерях империалистического государства находятся сотни пленников, приговоренных к медленной смерти, к сто-

летия тюрьмы. Против них направлена вся чудовищная машина государства — особые законы, спецтрибуналы, концлагеря. Специалисты по пыткам, по физическому и психическому уничтожению разъяснили публично, на страницах газет в мельчайших подробностях, какие разрушительные и антигуманные способы они применяют: длительная изоляция, извращение политического тождества личности, рафинированные бескровные психологические зверства и садистские изобретения, которым подвергаются пленные революционеры.

Вся масс-медиа на службе режима со своим обычным бесстыдством распространяет лжью и мистификации о нашем обращении с пленным президентом Христианской демократии. Все обстоит наоборот: в обращении с ним скрупулезно соблюдаются все права политзаключенного, какие эта квалификация представляет: не больше — но и не меньше. Заключенный в народной тюрьме, он теперь находится вне своей демохристианской шапки и видит, как бывший его напарник премьер-министр старается любой ценой превратить его дело в "выгодную аферу" /такими словами сам пленный это определяет/.

Призывы к гуманности — это бесстыдный гротеск. ХД пускает в ход призывы к гуманности — мы же обращаемся только и исключительно к революционному движению. Пришло время, когда ХД не может более сваливать с себя политическую ответственность. Вопрос о выдаче /освобождении/ пленного может быть рассмотрен нами только в связи с освобождением всех пленников коммунистов. ХД должна дать ясный и определенный ответ, если намерена следовать по этому пути: должно быть ясно, что это единственная реальная возможность и иной нет. Христианской демократии и ее правительству <sup>х)</sup> дается срок в 48 часов считая с 15 часов 20 апреля. По истечении этого времени, в случае безмерной подлости ХД, мы будем обязаны отчетом только пролетариату и революционному движению, принимая на себя ответственность за исполнение приговора, вы-

---

х) Эта фраза обидела партнера ХД по историческому компромиссу: "Или террористы не заметили, что ныне правительство держится не на одной ХД?"

несемного Народным Трибуналом." /подпись/. х)

Комментарий адвоката Первого антагониста:

- Надо правильно читать коммюнике. О чем, например, говорит 6-а? О том, что закончен процесс, но не само дело. Приговор означает начало новой фазы: есть возможность для инициативы противной стороны /т.е. государства/.

- Что именно это значит? - спрашивает интервьюер.

- Политическую цену, которую надо заплатить. Политический статус: они более не террористы, но официальные противники, а заключенные - это военнопленные. Государство должно признать их как собеседников...

- Не согласитесь ли вы взять на себя посредничество?

- Зачем еще посредники. Переговоры ведутся: между Христианской демократией и ее президентом!

Социалисты требовали начать переговоры согласно стратегически-тактическому предначертанию, изложенному в письмах протагониста - с тем чтоб он сам был в своем деле посредником, как единственный, кто достаточно хорошо знает и ту и другую стороны. Впрочем, добавлял социалист, проблема обмена вряд ли технически реализуема...

Посредников было более чем достаточно. Красавица актриса ходила в тюрьму в камеру к Первому антагонисту - с согласия министерства *grazia e giustizia*. /что звучит совершенно по Орвеллу/. 22 апреля его же просили о помиловании его старинный друг Марко Боато в письме, которое напечатали все газеты /"какой только можно путь, какуо би-то ни бино возможность..."/; те же газеты воспроизвели на первой странице собственноручное послание Святого Отца.

- Я пишу вам, люди из /.../: возвратите пленнику свободу, верните его семье и гражданской жизни. Я вас не знаю и не имею способа установить контакт с вами, а потому обращаюсь к вам публично, пока не подошли к пределу терпения мои объявляющие, грозящие смертью человеку доброму и честному,

х) Сообщения об оваре, о самоубийстве они объявили фальшивкой, изданием социалистов психологической войны, готовящих шумный спектакль в свою пользу. В 82 году кающийся сказал: "это была наша целенаправленная фальшивка".

которого никто не обвинит ни в преступлении, ни в скудости социального чувства, ни в измене долгу служения справедливости и миру в человеческом сообществе.

У меня нет никаких полномочий, и никакие частные интересы не связывают меня с ним; но я люблю его как члена большой человеческой семьи, как друга студенческих лет, и в особенности и прелесть всего как брата по вере и сына Церкви Христовой. И этим высшим именем Христа, которого не можете же вы не знать, я вас прошу, неведомые и непримиримые враги человека достойного и невинного, я молю вас коленапреклоненно: освободите его — не ставя условий — не столь по моей смиренной просьбе, но как брата своего во человечестве, и ради цели, которая, хочу надеяться, и для вашей совести возмывает силу: ради цели истинного социального прогресса, который не должен быть запятан невинной кровью, ни истерзан ненужной болью. Не довольно ли жертв, не довольно ли слез, или мало еще мы оплакивали тех, кто погиб исполняя свой долг. Всем нам должно страшиться ненависти, которая вырождается в месть или склоняет к чувству гнетущего отчаяния. И мы должны бояться Бога, мстителя за мертвых, за убитых без вины и без причин.

Мне, говорящему от имени столько ваших сограждан, — дайте надежду, что еще таится в ваших душах всепобеждающее чувство человечности. На то уповаю, молясь, и с неизменной любовью к вам."

К тому моменту общественное мнение резко разделилось. День 36-ой, 7-ой, 8-ой — партия переговоров требовала обменять пленника на Первого туркского антагониста: практически, очевидно, министр юстиции, или президент Республики, или премьер министр напишет приказ освободить из-под стражи подсудимого по причине... есть вещи, которые не пишут, как говорил Наполеон. — Сегодня жизнь заложника в руках Н., лидера Христианской демократии, заявляла партия переговоров; — это звучит похоже на коммунистический номер 8, отвечали ей.

22 апреля в 15 часов кончался срок 48-часового ультиматума. Н. получил письмо — и весь мир его читал в газетах.

"Дорогой Н., обращаюсь к тебе, а также, более официально и некоторым образом торжественно, ко всей Христианс-

кой демократии, с которой в эту драматическую минуту позво-  
ль себе говорить по-прежнему как президент партии. Я при-<sup>н</sup>имая  
знаю наличие определенных проблем для государства, но их  
можно решить без угрозы равновесию и безопасности, и тем не  
менее в духе гуманности, христианства и демократии, которо-  
му следует весь цивилизованный мир, когда речь идет о защи-  
те жизни невинного человека. Существуют проблемы, касающие-  
ся меня и моей семьи: от этих проблем, мучительных и тре-  
вожных, не думаю, чтобы удалось вам избавиться — также и  
перед лицом истории — так легко, равнодушно и цинично, как  
в продолжение нынешней моей сорокадневной <sup>х)</sup> пытки. С глубо-  
кой горечью и изумлением я услышал мгновенный, без сколько-  
нибудь серьезной человеческой и политической оценки, жесто-  
ченный отказ — это было решение руководства, но кто, когда  
и где обсуждая проблему столь чудовищную, как эта?

Споры и протесты, неизбежные в такой демократической  
партии как наша, были искусственно заглушены. Моей злосчаст-  
ной семье определенным образом зажали рот, чтобы не слышать  
ее криков отчаяния и боли. Возможно ли, чтобы все вы едино-  
душно, из мнимых государственных соображений, пожалали мне  
смерти как чуть ли не единственного решения всех проблем?  
Превосходное решение. С него начнется ход событий, подобный  
чудовищной неудержимой спирали, и вы не сможете ему проти-  
востоять. Вас опрокинет. Начнется раскол между вами и всем  
тем, что еще остается гуманного в этой стране. Начнется не-  
исцеляемый, вопреки видимости, надлом в партии, который пре-  
одолеть вы не сможете.

Я думаю о стольких и стольких демокристах, которые  
годами отождествляли партию с моим именем. Думаю о моих  
друзьях в различных течениях и парламентских группах. Думаю  
о многочисленным близким друзьям, которых вы не заставите  
смириться с этой трагедией. Возможно ли, чтобы все они в  
эту драматическую минуту отреклись от своего права голоса,  
от своего влияния в партии, которыми пользовались в делах  
меньшего масштаба?

---

х) ошибка.



Я говорю открыто: никому не будет ни прощения, ни оправдания. Всей партии я указываю на это серьезнейшее испытание, всем силам свободы и духа гуманности, которые себя проявляют незатруднительно и согласно в любой парламентской дискуссии подобного содержания.

Я обращаюсь ко всем — страна же внимает прежде всего — ХД, по причине ее ответственности и ее умения разумно сочетать интересы государства с соображениями гуманности и морали. Если сегодня — впервые — она обманет надежды, она будет втянута водоворотом и обретет свой конец.

Да не свершится, заклинаю вас, это страшное дело. Прежде нежели смертоносное решение будет принято по указке нескольких руководителей, так одержимых проблемой безопасности, что и вышней их не успокоить, — пусть каждый все оценит до конца, пусть спросит и заставит говорить свою совесть. Какой бы то ни было сдвиг, какой бы то ни было поворот, малейший признак понимания будет иметь огромное значение. Время летит.

Скажите же немедленно, что ваш ответ не будет мгновенным, простым и смертоносным. Докажите немедленно, что не в адиюдунии вы принимаете смертоносное решение. Вспомните, и все пусть вспомнят, что республиканская конституция, как первое звено обновления, уничтожила смертную казнь: что я, друзья мои, теперь ~~еще~~ возродится, ей не препятствуют, а напротив, энергично способствуют в слепом преклонении перед государством, и она вновь входит в обиход, становится фактом нашего общественного порядка. И вот в демократической Италии 1978 года, в Италии Беккарини, как в прошедшие времена, я приговорен к смерти. Исполнение приговора зависит от вас — у вас прощу хотя бы помилования, хотя бы ради моей семьи, тому есть существенные причины, Н., тебе они известны, семье нужна моя помощь и забота.

Тревога о семье меня мучит, семья останется без меня, а она без меня не может, — из-за неспособности моей партии быть ответственной, действовать мужественно и вместе с тем ответственно.

Я обращаюсь лично к каждому из друзей в руководстве

партии, с кем мы годами вместе работали на пользу ХД. Я вспоминаю 60 тяжелых дней кризиса, пережитых вместе с Н., Н., Н. и другими, под твоим водительством и при постоянных консультациях с Н. Бог знает, чего мне стоило все привести к благополучному исходу, и никогда я не думал, как, впрочем и прежде, о своей безопасности и о своем покое. Правительство держится: за это не мне ли следует дань признательности, как и за многое другое? Вдали от близких, без прощального привета, без утешения и ласки — одинокий конец политаключенного, приговоренного к смерти. Если вы не вмешаетесь, в историю Италии будет вписана леденящая страница. Моя кровь падет на вас, на партию, на страну.

Друзья мои, подумайте. Хорошо подумайте, и будьте самостоятельны. Смотрите не в завтра, но в послезавтра. И первый ты, Н., ибо на тебе максимальная ответственность. Вспомни в этот час — эта мысль должна тебя преследовать — вспомни, с какой необычайной настойчивостью ты сам и через друзей добивался, чтобы я был президентом Национального Совета, чтобы я участвовал и разделял ответственность в начинающейся новой политической фазе, которая представлялась исключительно трудной. Ты помнишь мое сильнейшее сопротивление — более всего по мотивам семейным, они всем известны. Но я, как всегда, склонился перед волей партии — и вот теперь меня ждет смерть за мое "да" тебе и "да" Христианской демократии. Итак, твоя ответственность — прямая и невысшая. Твое "да", твое "нет" будут решающими. В твоей воле — еще раз разлучить меня с семьей: но знай, этого бремени тебе не свалить до конца дней твоих.

Господь да просветит тебя, дорогой Н., тебя и друзей, к кому в отчаянии обращаю это послание. В каких-то случаях идут напрямик, но вспомни о тех многочисленных, когда поступали согласно нормам гуманности и находили конструктивное решение, хотя бы и в трудной ситуации. Та страна живет, где побеждает сострадание. Сердечный привет...

После 15 часов я дали известий — чтобы, впрочем, отнестись с некоторым недоверием: довольно было конфуза с озером. Но в субботу и 23-го в воскресенье продолжалось молчание.

"Дорогой Н., снова обращаюсь к тебе, как несколько дней назад, в глужском волнении. Драматизм положения возрастает. Время почти на нуле, на грани кровопролития, остается не минуты уже — секунды. Я обращаюсь к тебе, но намерен говорить непосредственно с каждым из Директории /более или менее расширенной/, кому по уставу надлежит принимать решения — и какие решения!

Я хочу снова говорить с огромной массой активистов, которые годами слушали меня, которые меня понимали, находили во мне способность и дальновидному предначертанию будущего Христианской демократии. Год за годом — сколько диалогов с ними, год за годом — сколько диалогов с друзьями из Директории и парламентских групп. И сколько раз в последние нелегкие месяцы мы беседовали мирно и спокойно, обращаясь друг к другу по имени, — все мы, облеченные одной неотвратимой ответственностью.

Мы умели понять друг друга. Нам не нужны были ни договоры, подписанные кровью, ни невероятные ночные секреты: каждый из нас знал волю другого и его долю ответственности.

Теперь ХД вовлечена в события громадные и как никогда отягощенные последствиями — и что же мы умеем? Ничего. Или почти ничего. Незвестна позиция секретаря — или премьера. Туманное общегуманитарного характера намеки Н. — и ничего по существу: где тонкий интеллектуализм Н., где Н. с его сильной аргументации /я на нее рассчитывал/, где четкий политический синтез председателей парламентских фракций, в особости Н.?

Я говорил себе: ситуация не созрела, благоразумная осторожность в традициях ХД, следует ждать... и ждал доверчиво, как всегда, представляя в воображении, что то-то и то-то скажет Н., и что Н. ответит, и Н., гуманист из "Осерваторе", и другие, когда встретятся для настоящего серьезного разговора. Замечу кстати, что решение хотя и в компетенции правительства, но именно ХД его нерушимая основа, ХД — доверяет и лишает доверия, и это в столь драматических обстоятельствах совершенно справедливо.

Итак, все дело в ХД — а что же ХД? Ничего, повторяю.

Ночные заседания, неуверенность, метерпимость, взывания к государственному соображению. Последовало одно предложение — благородное и цельное, но в нем, к сожалению, обойдена реальная политическая проблема. Напротив: должно быть ясно, что в рассуждении политики дело идет не о сострадании человеческом /хотя в оно немало значит/, но об обмене военнопленных, как обычно практикуется там, где идет война /война, герилья — как угодно/, как практикуется в цивилизованных странах, и не только по общегуманным соображениям, но конкретно для спасения жизни невзванных. Или в Италии мне закон? Или это коммунисты, вступив в игру, должны непременно со всеми этими проблемами свести счеты — даже на фоне более гуманной позиции социалистов?

Я желал бы остановиться сейчас на сравнении двух благ, о которых идет речь: свободу можно вернуть, хотя бы и дорогой ценой, — жизнь невозвратима. Какой справедливостью, каким пугливым отступлением от самого закона возмездия оправдывает государство — инертное, морально бессильное, лишенное чувства истории, — чем оно, отвергая свободу, искупит тягчайшую и непоправимую кару — смертную казнь? Вот, думалось мне, тезис для Н., который его развил бы с присудом ему искусством и красноречием. Смертная казнь будет восстановлена — меж тем в стране столь цивилизованной, как наша, она считалась недопустимой со времен Беккерин, и после войны была вычеркнута из кодекса, в знак подлинной демократизации... Государственный орган не задумываясь приговаривает к смерти — чтобы не нарушать статус кво тюремного заключения: это противоестественно. Здесь нужно проявить мужество: Н., ты избран конгрессом и никому не подсуден, твое слово будет решающим. Оставь колебания,  $\chi$  опасения, не уступай своих прав. Будь отважным и чистым, как в дни твоей юности. В заключение вышесказанного повторяю: я не смирюсь с несправедливым приговором ХД, злом воздающей за добро. Я повторяю: пусть никто не надеется на мое прощение и оправдание. Никакие политические и моральные причины меня к тому не принудят. Вместе со мной взывает моя семья, смертельно раненая, — надеюсь, ей дадут наконец высказаться. Пусть ХД

не рассчитывает покончить со своими проблемами, покончив со своим президентом. Я пребуду — как непреодолимое препятствие, как протест и альтернатива окончательному превращению ХД в то, чем она сделалась сегодня.

По этой причине, ввиду очевидной несовместимости, требую, чтобы на моих похоронах не было ни представителей государства, ни деятелей партии. Со мной останутся немногие достойные, кто истинно желал мне добра, и будут сопровождать меня с молитвой и любовью. Сердечный привет.

24 апреля 1978.

Постскриптум: Предостерегаю от намерения что-либо решать вне компетентных органов партии."

24 апреля, понедельник: Коммюнике номер 8.

Названы имена тринадцати для предполагаемого обмена. Возраст: 36 лет, 19, 28, 31, 34; сроки приговоров /максимальные/: 23 года, 32 года. В перечне — 36-летний /в 78 году/ Первый антагонист и его 32-летний ближайший друг и еще другой соратник 31 года.

О попытках посредничества: если правительство назначает Каритас Интернационалис или кого бы то ни было другого своим представителем и уполномочивает вести переговоры — об этом должно быть заявлено официально.

О призывах папы и секретаря ООН: "ХД хотят очертить магическим квадратом. Освободите наших тринадцать во имя той же христианской гуманности и всечеловеческого братства и других высших идеалов, на которые ссылаетесь."

Открытое письмо в поддержку позиции социалистов /которые, как известно, были за переговоры/:

— Христианки не соглашается с формулой "один государства супрема лекс", для христианина человеческая жизнь суть ценность трансцендентная; от Сократа до Христа Запад переживает конфликт между личностью и законом. — Политический деятель, возможно, предпочтет гражданскую религию Руссо, обвинявшего христианство в том, что оно провоцирует разрыв гражданина с государством и его интересами. Однако следует понять, что терроризм есть факт, каждая террористическая группа занимает определенное политическое пространство. Теперь они предлагают диалог, т.е. не войну уже, а переговоры:

они готовы сменить огнестрельное оружие на оружие слова: правильно ли будет оттолкнуть их назад, в гетто насилия? Возможно, в процессе переговоров сами они переменятся, возможно, даже в лингвистическом универсуме насилия найдется место для слова Божьего?..."

Иначе говоря, является возможность для демократического государства воспитывать в демократии и методами демократии также и тех, кто не признает правила игры. Демократическое государство может попробовать победить насилие, не прибегая к насилию. Оно, как Афина, вооружается свободой, разумом, культурой...

Лейтмотив тех дней: надо делать все возможное для спасения заложника: все — кроме того, что выходит за рамки законности; все — кроме того, что будет понято как уступка; все — кроме того, что требуют террористы.

Во вторник 25 апреля — до конца оставалось пятнадцать дней — появился текст /декларация? манифест? или снова — письмо?/, который толкователям внушил благоговейный ужас, а также тайное злорадство, ибо стныне и навеки для него рухнул, взлетел на воздух и пылью рассыпался миф об исключительности русского национального опыта.

"Друзья /пленника, приговоренного/, близкие к нему с давних и недавних пор по причине общности культурной формации, христианской духовности и политических убеждений, — в полной мере сознавая высокую гражданскую значимость своего свидетельства в момент, когда для спасения его жизни /на что мы еще надеемся/ предприняты известные авторитетные инициативы и высочайшие обращения, — заявляют:

1. Человек, которого мы знаем, с его духовными, политическими, юридическими представлениями, вдохновлявшими его еще во времена его участия в разработке республиканской конституции, — этого человека нет в письмах, адресуемых Н. от его имени и публикуемых с его подписью. Эти письма представляют собой попытку исказить и разрушить его облик, попытку не менее преступную, чем угроза его убить.

2. Невсхлупимая вина за вероятное бессмысленное убийство падет единственно на физических его исполнителей и орга-

низаторов, которые не должны питать иллюзий, что им удастся на других свалить бремя смертного приговора, который итальянское государство не признает возможным ни при каких обстоятельствах."

Это казалось так знакомо и, хотя б с многими оговорками, так похоже на те знаменитые, незабвенные, исторические публичные отречения. Можно, конечно, в поисках прецедентов начать с апостола Петра, т.е. отречения по инстинкту самосохранения; можно предположить, что отреагировали искренне — поскольку на процессах подсудимые рассказывали о себе нечто кошмарное и невообразимое, и новый преступный облик непоравимо искажал и разрушал их прежний и знакомый; наконец — в нашем случае для одаренного известной тонкостью эстетического чувства был возможен следующий изысканный софизм: этого человека я знаю: его принудили, он не стал бы так писать ~~вышедший~~ по своей воле, — но тогда мой долг во всеуслышание сказать "это не он": я реабилитирую мученика... Режиссер Дебре когда-то пенял интеллектуалам, что они — де инертны и однажды чему-то влучившись пребывают в уверенности, что больше ничему учиться не придется и незачем: поэтому они оказываются несостоятельны перед всяким несекундарным и незнакомым феноменом.

Письмо подписали ученые с мировым именем, политики, кардиналы, епископы, потомки православных старцев, авторы книг, которые необходимы при изучении католической мысли, итальянской истории и литературы; среди многих знакомых имен толкователь прочел имя христианского интеллектуала, брата по духу Петрарки и Боккаччо, лингвиста с философскими склонностями. Он владеет несравненной музыкой интонации, которая наилучшим образом сочетает науку и артистизм, анализ и поэзию, т.е. Истину, Добро и Красоту: Витторе Вранке, одному из любимейших своих авторов, толкователь хотел бы послать в подарок петуха.

30 апреля, десять дней до конца.

К Христианской демократии.

В своем письме я ответил на разрозненные, двусмысленные и по сути негативные заявления ХД о моем деле; после этого ничего не изменилось. И не потому, что не нашлось

материала для дискуссии, — это было достаточно. Но не удалось у партии, у ее секретаря гражданского мужества, чтобы начать дебаты по предложенной теме, а именно — о спасении моей жизни и как этого достичь в границах равновесия. Да, я пленник и я не в лучшем расположении духа. Но я пишу не по принуждению и не под воздействием наркотиков, у меня прекрасный почерк и мой обычный стиль, как бы плох он ни был. Но говорят, что я НЕ ТОТ, и потому не стоит принимать меня всерьез, ни даже отвечать на мои доводы. И когда я по чести спрашиваю, соберется ли наконец Директория или другой компетентный орган, ибо в этой игре ставка — жизнь человека и участь его семьи, — вместо того продолжает сходиться недостоинно и тайно, перешептываются, боятся дискуссии, боятся правды, боятся поставить свое имя под смертным приговором.

И должен сказать, что меня глубоко опечалило — никогда бы не поверил, что это возможно, — что мои друзья, от консьюера Н. до адвоката Н., Н. и других, во мне усомнились: не зная, не понимая, что я пережил, и эта мука нераздельна с ясностью разума и свободой духа, они утверждают о моей неподлинности, как если бы я писал под диктовку. К чему это ручательство? У меня с ними <sup>х)</sup> нет ни малейшей общности воззрений — и не составляет общности воззрений тот факт, что я всегда считал приемлемым обмен политических заключенных, как это делается на войне. Тем более, если один из тех, кому отказано в обмене, хотя и терпит тяжелые лишения, но остается жив, другой же должен быть убит. В конце концов не одна же противная сторона выигрывает при обмене /этот довод позволю себе смиренно предложить для рассмотрения Святому Отцу/, но и другая, невоющая, и конкретно — лицо сугубо гражданское, как я, которому грозит убийство.

Чем докажут, что государство рухнет, если хоть один-два один неповиный выживет, и в возмещение другой человек отправится вместо тюрьмы в изгнание? Вот в чем суть. Это

---

х) т.е. террористами.



смертный приговор всем заложникам — а можно предвидеть, что таковые будут <sup>х)</sup>, — и эту позицию упрямо оброняет ХД, обороняют все партии, — с некоторой оговоркой для социалистов, что, однако, желательно было бы разъяснить в позитивном смысле и безотлагательно, поскольку время не ждет. В ситуации такого рода роль социалистов была бы решающей — но когда? Горе, если провалится твоя попытка, дорогой Н. Я хотел вернуться назад и напомнить все прежние рассуждения, — как прежде, так и теперь ход моей мысли следует своей привычной логике, — приходится еще раз повторить эти косные упрямцы из ХД, что обмена производились всегда и всюду, где бы ни было, чтобы сохранить жизнь заложникам, чтобы спасти безвинные жертвы. И более того: пора напомнить, к сведению ХД, что в отдельных случаях палестинцев даже выпускали на свободу /с последующей высылкой/, во избежание репрессалий и реторик, грозящих значительным ущербом обществу. Это были угрозы серьезные, внушающие спасения, но не в такой степени имманентные, как сегодня. Но тогда начинали с признания самого принципа, признавали необходимость сделать исключение из правил формальной законности. И не очевидно ли, что действуя по логике необходимости, не намеревались пренебречь интересами союзных стран, которые и действительно продолжали даже поддерживать отношения дружбы и доверия.

Но где и кем из ХД было все это сказано? ХД не имеет мужества противостоять этим проблемам. ХД по сути гарантировала мне смертный приговор — ХД, упорствующая в своих сомнительных принципах, ничего не сделала, чтобы человек — кем бы он ни был, но все же ее престижный представитель и верный соподвижник, — не был бы предан смерти. Человек, который искренне отказался возглавить правительство и тем завершил свою карьеру — и которого Н. и его друзья, столь умелые калькуляторы, буквально оторвали от его земной и чисто теоретических размышлений, чтобы облечь в двусмысленные одежды президента партии, не имеющего адекватного места

---

х) Эта фраза немедленно возбуждает вопросы: что это — угроза? оповещение — косвенное, — что великие и непобедимые антагонисты уже составили список — и многие из ныне здравствующих умрут, быть может, не в своей постели? 87.

в контексте пьядца даль Джезу. Там Н. расположился бы идеально — сколько я просил его об этом! — он же ограничивался заверениями, что все будет как того пожелает президент Национального совета.

И что сказать об Н., который объявляет, что я на его месте /так сказать на свободе и с комфортом, на пьядца, к примеру, даль Джезу/ говори бы так, как говорит он, а не так, как я говорю будучи здесь. Вудь ситуация иной — не столь трудной, не столь драматической /и этим определением ограничусь/ — хотел бы я посмотреть, что скажет на моем месте Н. Я же сказал и доказал, что так, как говорю ныне — говорил и прежде в условиях вполне объективных. Или устав не позволяет созвать совещание и найти выход? Или мужественным нет, чтоб того потребовать, как требую я в полной ясности разума? Сотни парламентариев голосовали против правительства — а сейчас никто не берется решать проблему honestly: и все это с удобным оправданием, что я пленник.

Проклятье яггерям — но как по нормам цивилизации следует обходиться с пленным, на ком лишь наружные оковы, интеллект же ясен? И спрашиваю Н., справедливо ли это? Спрашиваю у моей партии, у всех вернейших ради памяти прошлых лет, допустимо ли это. Если только форму найти не угодно — что ж, в моей еще власти созвать в должный и спешный срок Национальный совет, имеющий предметом обсуждения преодоление затруднений своего президента. Председательство поручаю Н.

Известно, что более всего ради моей семьи я продолжаю борьбу со смертью. У меня нет больше желаний, после стольких лет и стольких событий приходит духовное очищение. И хотя велик мой грех, думаю, что я жил в щедрых сокровенных помыслов и намерений. Я умру, если так решит моя партия, в исповедании моей христианской веры, в безмерной любви к моей замечательной семье, — и в надежде оберегать ее с небесной мной. Вчера еще я читал нежное письмо любви от жены, детей, любимого внука, от всех, кого не увижу больше. Тот, кто принес письмо, в милосердии своем не верил, что я приговорен — если чудом ХД не станет снова сама собой в сознании своей ответственности. Но от этой кровавой бани не будет

добра ни Н., ни Н., ни ХД, ни стране. Каждый в свой час ответит.

Еще раз говорю: я не желаю, чтобы меня окружали власти смущенные. Пусть со мной будут те, кто истинно меня любил и будет любить и обо мне молиться. Если все решено — да свершится воля Иисуса. Но ни один виновный не оправдывается, ссылаясь на непонимание своего долга. Все станет ясно, все объяснится еще скоро."

Первого мая депутат конгресса Самуэль Эдвард Марон — да будет благословенно имя праведника, великого виртуоза трюковых и четверных межконтинентальных обменов политзаключенных с Мадагаскара, из Восточной Германии, из Латинской Америки, — предложил 5 миллиардов лок выкупа. Антагонистам случалось брать выкуп: в свое время похитив при участии мафии гриматора Косту, они с ней поделили 2 миллиона долларов; на эти деньги они провели операцию 16 марта и теперь продолжают их тратить, а не все еще израсходовали за лето, остаток забрали 1 октября в Милане карабинеры генерала Далле Кьези. Выкуп был целью тогдашнего похищения, антагонисты взяли деньги именно затем, чтоб иметь возможность не брать их сегодня. Они отказались также и из эстетического чувства. Как том 3-го мая на 31 день не выдержал Арафат: отпустите же его, ижеся король палестинского терроризма, пусть наконец прекратится эта акция!

В тот же день вышло 9-е коммюнике.

"Срежания, начатое 16-го марта, пришло к своему заключению. Нам просили о выдаче пленного — мы обеспечили такую возможность, единственно практическую, конкретную и реальную: освобождение тринадцати борцов, задержанных в лагерях империалистического государства. СВОБОДА В ОБМЕН НА СВОБОДУ. Ответ ХД, ее правительства и сообщников показал со всей ясностью, лучше всяк слов и официальных заявлений, факт контрреволюционного насилия, осуществляемого в грязном соотрудничестве с реакционными силами из МП. Транснациональное государство разоблачило свое истинное лицо без маски формальной демократии. Это лицо судороги смертельно раненого зверя, и то, что кажется его силой, свидетельствует о его слабости: ход событий в этот 31 день доказывает победу

революционного движения и жестокою поразение империалистических сил. Никакой батальон "кожаных голов", никакие германские, английские, американские сверхспециальности, никакие шпионы из аппарата КГБ и ее профсоюзов не достигли ни малейшего успеха в попытках остановить растущее наступление революционного авангарда.

На языке слов нам ничего больше сказать ХД, ее правительству и его сообщникам. Единственный язык, который им понятен, — это язык оружия: пролетариат изучает этот язык. Мы завершаем бой, начатый 16 марта, приведением в исполнение приговора, вынесенного президенту ХД. /подпись/.

Но они медлили и назначили еще 48 часов. Два-три лидера спорили и жестоко ссорились, решение сделалось ставкой в борьбе за власть и влияние. Антагонисты были вынуждены ждать ответа правительства: ожидание не было бессмысленным. 30-го апреля один из них по телефону говорит жене смертника /голоса похожи, и он путает ее с дочерью/.

— Это последний разговор. Мы звоним единственно для того, чтоб у нас ничего не оставалось на совести.

— Да...

— Потому что ваш отец настаивает, что вы обманути и возможно сомневаетесь, предполагает какие-то оговорки, да? До сих пор все что вы делали... ничего не дало.

— Да...

— Мы думаем, что ничего... Игра кончена, мы уже приняли решение. Мы не можем сделать ничего иного как в ближайшие часы исполнить то, о чем говорится в 8-м коммюнике. Следовательно, мы требуем одного: немедленно должен выступить Н. с исчерпывающим разъяснением. Если это не произойдет, считайтесь с тем, что мы не сможем поступить иначе как ... — понимаете? Вы меня поняли точно?

— Да, я поняла вас очень хорошо.

— Вот только это и возможно. Мы говорим для очистки совести — потому что, знаете ли, смертный приговор это не такая вещь, чтобы отнестись легко, и для нас тоже. Мы берем на себя ответственность — но только нам, нам честь ответственности, и как раз поэтому... знаете, у нас кое-кто думает, что у вас много советчики, и оттого вы не вмешиваетесь...

тесь прямо...

- Мы делали все что могли, что нам давали делать...

- Вся проблема, проблема в том...

- Потому что мы сами как пленники.

- Но проблема - политическая. Именно по этому пункту должна выступить Христианская демократия. Мы тысячу раз на этом настаивали, чтобы сделать возможными переговоры. Если это не произойдет в ближайшие часы...

- Послушайте...

- Я не могу вступать в дискуссию, я не уполномочен.

- Простите.

- Я только должен был позвонить и сказать вам: только прямое, немедленное, ясное и четкое заявление Н. может изменить положение. Мы уже приняли решение, в ближайшие часы произойдет неизбежное. Мы не можем поступить иначе, больше мне нечего вам сказать.

Предполагая, что президент Республики, наследник королевского престола, помнит тех тринадцать - или пятнадцать - или одного, вернее одну, называли ее имя. Это было бы в границах законности и приличий, и государство не теряло лица, - впрочем, антагонисты могли не согласиться на такой двусмысленный обмен: из эстетического чувства целостности. Предлагали, чтобы Святой Отец в рубище, босиком, подпоясавшись веревкой и повесив голову ницком, прошел бы по улицам Рима - в тюрьму, в камеру Ренато Курчо. Вряд ли это было здравое рассуждение - но к тому моменту все они, все участники и партнеры и публика устали и несколько тронулись умом, и никому эстетическое чувство не позволяло отбить, отколоть даже самый маленький кусочек от непримиримости, непреклонности, твердости:

Все эти дни заложник - приговоренный - продолжал писать. Он писал и, обозначая новые и новые пути к спасению, ставил глаголы в настоящем и даже в будущем времени, тогда как для всех он был уже в прошедшем и непоправимом времени, и его хотя с великой горестью, но и с облегченным переводом бы в давнопрошедшее, из активного залога в пассив, в страдательный, отстрадавший, отмутившийся залог. Он писал кол-

дегам, президенту Республики, друзьям, Святому Отцу:  
"сколько было писем?" — спрашивали журналисты после миланской находки в октябре 78 года, — "более 30, но менее 300 ..."  
— тысячи писем, как Петрарка, и каждое в наивысшем усилении интеллекта и воли: вся цивилизация, вся культура, весь человек физический и духовный, сведенный к изощренной словесности, согласно ренессансной концепции гуманизма, которая в сопоставлении с первым стихом Евангелия от Иоанна кажется ответным и великолепным подарком человека Богу. Возможно, писать для него сделалось чем-то вроде потребности наркомана, сам процесс писания возвращал к привычному состоянию и уверенности — но слова должны были обрести силу, буквальную силу, действовать подобно заклинанию. "Лазерь, гряди пси" — это не магия, тут слова случайны, и не в них сила, а в говорящем; но в обряде божественной евхаристии хлеб делается плотью и вино кровью только с помощью точной словесной формулы; и кудои молятся: "на твою помощь уповаю, Адонай", "уповаю, Адонай, на помощь твою", "Адонай, на помощь твою уповаю". Он менял местами слова, добавлял причастие, исключал прилагательное, — текст, чуть иначе написанный, мог бы потерять убедительность, — в каждой фразе физически слышимо предельное напряжение всех сил, чтобы довести слово до уровня буквальной реализации. И то ли от усталости, то ли от перемены ракурса менялась манера — манера, предполагавшая расшифровку, стиль, который находили темным и запутанным, язык, который Поэт назвал непонятным как матишь, делался иным по ту сторону напряжения, по ту сторону сложности, как ташина после гула. "Дорогой Н. х)  
... совершенно ясно, что дело не в том, чтобы призывать к свершению акта гуманизма, — призывам вообще абсолютно бесполезны, — но в том, чтобы начать как можно скорее настоящие переговоры... У меня такое впечатление, что этого не понимают, или делают вид, что не понимают, — но именно такова реальность, и больше нет времени. Быть может, еще час и все будет бесполезно. Заклинаю тебя, делай все, что мож-

х) Лидер социалистов.

но, и это должно быть дело, а не декламация. Надеюсь, это письмо тебя застанет. Поверь, нельзя терять ни минуты. Все это мне кажется несколько абсурдным, но к чему объяснять, объяснения не в счет. Если только можно что-то сделать, - нужно делать. Дружеский привет и бесконечная благодарность!

Объяснений было достаточно, и много доказательной аргументации: бить может, даже слишком много. У Кеведе некий опытный инициативный учит, что не надо говорить "подайте, молю вас, во имя Господа нашего Иисуса Христа", а надо, протянув руку, сказать: "ради Суса!" - криливо и кратко и даже без эмфазы. Письма становились все короче, наконец - просто записки, минимально повторяющие одну-две формулы, как телеграмма, как краткое распоряжение. "Профессору Н., президенту итальянской республики, с глубоким уважением. Обращаюсь к твоему высокому чувству гуманности и справедливости, чтобы, в согласии с правительством, была бы найдена возможность для справедливых и гуманных переговоров об обмене политических заключенных, которые возвратили бы меня семье, которая во мне имеет спешную необходимость..."

Имеется, впрочем, еще один случай развернутой аргументации.

"Предлагаю вниманию обеих палат и их председателей решение, которое, на мой взгляд, никоим образом не причинит ущерба ни правам государства, ни интересам политических заключенных, в числе которых я нахожусь. Это решение, по договоренности с Женевским Красным Крестом, должно быть конкретизировано в чрезвычайном и срочном парламентском законе, по которому я получу статус заключенного с условиями, включая режим, полностью аналогичными тем, в каких содержатся политические заключенные в государственных тюрьмах. Этот закон поставит меня в такую связь с этими заключенными, чтобы я не мог пользоваться снисхождением или быть обменян иначе нежели наравне с ними. Гарантией для них послужит специальный закон, который парламент вотирует, включив в него полномочия для ареста и суда надо мной.

В обычной тюрьме при всей строгости содержания я имел бы лучшие условия, некоторую информацию и указания, меди-

цисскую помощь и хотя бы редкие контакты с семьей."

- *l'razzo*, помешался", -- был комментарий. Другой -- комментатор заметил /тоже постфактум, потому что это письмо сделалось известно только в конце ноября/: можно было сразу предложить национальный референдум. Такой, какому -- воспрепятствовал Робеспьер, когда решалась участь Людовика 16-го.

7-го мая -- молчание, и молчание 8-го; до конца оставались сутки.

Никто уже не верил в его возвращение, никто не мог этого вообразить. Тот, кто побывал в дальнем и долгом странствии, рискует, возвращаясь, быть неузнанным; правда, он может еще надеяться, как в традиционном милосердном "неузнанном", что докажет свое тождество каким-нибудь тайным знаком на теле, или хотя бы мертвого его признают по этому знаку. Но в худшем случае, например в эскимосском фольклоре, вернувшийся странным делается для соплеменников невидим. Его не то что не узнают: его не видят, хотя б и глядели в упор. Для них его НЕТ, это означает, что он вне их закона и остается только его убить. Протагонист 78-го года писал письма, в письмах были приложены фотографии, но что такое фотографии, две фотографии за два почти месяца: только тень. Искаженная тень, от которой отворачиваются со стыдом и болью. Он не мог вернуться, вода и огонь Италии были ему запрещены.

Возвращение было возможно лишь в той единственной форме, в какой и совершилось 9-го мая. На было мрака на земле от назначенного до назначенного часа, при свете дня рассмотрели выглаженный костюм и чистую рубашку и аккуратный узел галстука, заметили в некотором недоумении, что все выдержано в должной норме, -- очевидно, по эстетическим соображениям ожидали увидеть небритое заросшее чудовище, чтобы измятое внешнее соответствовало той внутренней мере, которая для всех была бесспорной. Но хорошо, что было именно так -- в ожидании последнего Суда, в надежде воскресения в увякнувшей католической телесности, чтобы перед Господом протагонисту предстоять во всем благообразии цивилизованного европейца. Полиция несколько часов одержи-



вала толпу и репортеров, римляне рыдали, женщинам делалось дурно, а позже к вечеру вид К. засыпал цветами и листочками бумаги, на них писали "мы с тобой" или просто "с тобой", как на плакатах манифестантов 16-го марта: первый и последний случай обращения на "ты". Для тех, кто не был непосредственным свидетелем, доказательством служила сенсационная фотография.

19-го мая парламент одобрил непримиримость, непреклонность, *fermezza*. Голосовали "против" 36 человек.

### Теодизион

- Кто же ты, Господи, что не слышно голоса твоего? Как терпимь ты — они вторглись в твой храм, а ты безмолствуешь! Они глумятся надо мною — а ты остаешься нем? Явись, восстань, возвысь голос твой, не будь немее мертвых, не будь немее всех немых, ибо я когда буду мертв, онемев...

Ты справедлив, Господи: помни о пролитой крови, не потерпи, чтоб осталась под пеплом. Сотвори над моими врагами суд по слову твоих пророків!

В этой старинной цитате, если исключить нехристианский мотив мести, остается упрек: то, что Ты на меня обрушил, Господи, превышает мое человеческое понимание, мои человеческие силы, превышает, в любом измерении, мой человеческий масштаб: Вы негуманны, Господи!

Толкователя смущают бесчисленные трудности. Задача кажется неразрешимой. Чем бы ни была изучаемая история — дохристианской трагедией река, или достижением постхристианской культуры, трагедией абсурда, — толкователь надеялся, — что возможность концепции будет возможностью катарсиса; теперь же очевидно, что катарсис невозможен, более того, представляется, что катарсис был бы возмутителен. Остается лишь сопоставить между собой различные аспекты дела, как сопоставлены, следуют одна за другой части 9 симфонии — без того, чтоб одна на другой следовала необходимо логически. "Здесь нет преодоления трагедии, — сказал музыкант-теоретик, — Бетховен был великий мастер превращения мрака в свет, кон-

кротю минора в мажор, т.е. более или менее механического щелкения выключателем. Где нет возможности преодоления, совершает подмену. Не стоит верить этим фанфарам, — я хочу сказать, не так просто это делается... Здесь чередование и констатация: время страдать и время утешиться, время шутить — и время петь гимны светлой радости...

Это эхо Экклезиаста выслушав, толкователь возразил, что 9 симфония все-таки доныне считается надежным и престижным символом гуманизма: где по смыслу не подходит ни Кredo ни Интернационал, поют Радость. А поскольку термин "гуманизм" достаточно запутан, то хотелось бы получить разъяснение у специалиста.

— Но вам уже не удастся прочесть его в версии Шиллера-Бетховена, — отвечал музыкант, — как электрическое освещение не удастся заменить свечечком иначе нежели с помощью выключ. Есть еще, правда, свет, который Беатриче показала Данте, но о нем как-то неловко упоминать поблизости от гуманизма. Гуманизм исторический давно выродился в истерику, предельный случай истерического гуманизма — Ницше. Кроме того вы должны помнить, что говоря о музыке, я могу дать вам только словесный ее эквивалент, т.е. оповещение... хотя не думаю, чтобы музыка была чем-то особо трансцендентным сравнительно с пластическими искусствами или даже литературой: такая мистификация музыки — сверхпошлость. Я думаю, что преодоления трагедии не дает ни экстаз ни истерика, и всякое постижение и выражение не может считаться ни аутентичным, ни адекватным вне совершенной ясности разума.

— Включал Бога?

— В этом я не знаток, но думаю, что начиная с Бога, — иначе придется вслед за Ницше признать, что христианство принесло с собой невиданное падение культуры и нравов.

Как можно было понять, музыкант приписывал Ницше слабость, изнашивание, неспособность к трагедии нераздельной с ясностью разума и свободой духа; если так, то действительно следовало обновить понятие христианства, обновить модель Бога, но на этом пути логическим препятствием было понятие гуманности, гуманизма. Термин неясен, неудобен в

обращении — пожалуй, потому что слишком удобен, в паре со многими прилагательными означает что угодно и похож на палимпсест. В ренессансной версии /Альберти/ Бог гуманен: если человек слепому случаю противопоставляет разум и терпение, и добродетель — людской несправедливости, такой человек угоден Богу и может не бояться, что капризная и двуличная судьба его уничтожит, разрушит его дом и труд. Немного погодя следует гуманистическая философия Просвещения и принципы 1789 года, т.е. Истина, Добро и Красота плюс Революция, на практике же — право /по крайней мере до прерильских законов/. Божественная справедливость и право — все это дает как будто достаточно надежные гарантии, но тем не менее, в последнем и наиболее расхожем употреблении гуманность *l'humanité* рифмуется с *piété*. В отчаянии — смирение до унижения: если не по праву, не по справедливости — то хотя бы из милосердия; если не оправдание — то хотя бы помилование...

Толкователь не мог надеяться на консультацию философа, в его употреблении термины представляли собой общее владенье, ту травку, на которой всяк может валяться блаженно хрюкая. Он сказал бы, что если верить всерьез в искупление кровью христовой, то нельзя вообразить нового Бога, т.е. Бога-рецидивиста. А гуманизм? — Клоунада, сказал бы он: один другому дает пощечину, третий хватается за щеку, звук будит четвертого и тот вскакивает с криком: что, уже утро?

И потому не лучше ли было вернуться к той ограниченной, но четкой гуманистической традиции, которая всему предпочитает слово. Это означает, применительно к изучаемому делу, возвращение к его словесному выражению, к текстам, и вот первое, что приходится признать: обе воюющие стороны говорили на одном языке. В 60-е годы был торжественно обещан взрыв языковых структур — и новый Бог явился бы как новое слово; лингвистическая революция привела бы, нет, она стала бы революцией политической и социальной. Но левая экстрема, оформившись как терроризм, как подпольная организация предельно иерархическая и конспиративная, левая экс-

трем, объявляющая себя врагом государства и у него требу-  
ющая статус равной воюющей стороны, неминуемо обречена была  
сделаться зеркалом государства и замкнуться его язык.  
Та же риторика. Те же литоты. Другая терминология — но вну-  
шительней терминологии интонация, которая повторяет офици-  
ально-канцелярскую, намеренно и ритуально запутанную. По-  
лучилось эхо — гулкое и грозное, но всего только эхо. Еще  
есть приправа, пристойно-бранивые словечки вроде "бандит",  
"шайка". Это совсем не плохо задумано: знакомая, деловая  
и официальная манера публике импонирует, словечки же —  
как по плечу поклонять — уничтожают дистанцию.

14 апреля 82 года, открытие процесса. Второй антаго-  
нист подходит к микрофону. "Председатель! Я намерен сказать  
кое-что — вам предлагается выслушать. Ваши замыслы извест-  
ны. Вы хотите воспользоваться этим процессом, чтобы зачар-  
кнуть пять лет вооруженной борьбы в Италии: вам это не  
удастся. Это безнадёжная попытка. Вы хотите стереть эти  
годы в исторической памяти народа, а с этой целью конфис-  
ковали все наши рукописные и машинописные программные  
документы. Мы требуем, первое: возвратите весь этот мате-  
риал. Второе: вы поместили карабинеров слишком близко к  
нам. Их присутствие делает невозможной дискуссию, мешает  
выявлению нашего политического тезиса. Карабинеры —  
это ваша принадлежность, не наша: уберите их!" Это, в эво-  
люционном развитии, интонация Цицерона против Катилины; и  
сходным образом заявляю о своей непреклонности государст-  
во.

В 64 году Поэт удостоил внимания, удостоил лингвисти-  
ческого анализа речи политика — протагониста настоящего —  
трактата. Поэт нашел в них гуманистическую формуцию и ла-  
тинский идеал; но даже этот язык, писал Поэт, не спасся  
от заражения тотальной унификацией. В него неудержимо про-  
никает, просачивается лексика — а значит и мышление потре-  
бительского общества, этот язык не пригоден уже для выраже-  
ния человеческих чувств... 11 лет спустя было сказано знаме-  
нитое: "язык, непонятный как латынь" — и вот противоречие:  
тотальная унификация и потребительская лексика наоборот, —  
казалось бы, должны были выродиться в манеру общепонима-

тельную и общепонятную?

Менее всего протагонист был митинговым оратором. Возможно вообразить, чтобы он как Кавур пал с балкона перед толпой кабалетту из "Трубадура" Верди, взамен политического лозунга: "Мать дорогая, жди забавленья! Близко спасенье!" — мать, разумеется, означала Италию. Привычной было ему говорить со своими и для своих — поучая, убеждая, предостерегая: друзья мои, перед нами знаменья великих перемен, подобных бурному вихрю, в этих переменях, в мучительных и нелегких усилиях рождается новая гуманность: это неизбежное движение истории... Мы должны понять и должным образом интерпретировать реальность, если мы не сумеем сделать это сегодня — мы утратим власть над будущим... — Сказано достаточно ясно: будет некогда день — и погибнет священная Троя, а потому если хотите уцелеть, проводите реформы; а также, цитируя — это: "этот режим будет сметен, разбит, уничтожен силами революционного авангарда". "Что произойдет, друзья мои, с этой страной, где страсти сильны, а структуры непроцни, — что будет, если единеди оппозиция проведут до конца, все равно кто, мы или другие?" Здесь то, что не есть Истина, Добро и Красота, названо как-нибудь иначе, чтобы не называть по имени: из этикета? или, может быть, из сострадания?

Стылизованная гуманность следовало бы назвать эту манеру.

Если форма есть выжимка из концепции<sup>х)</sup>, то и концепция, возможно, была стылизованной гуманностью. Это сведение политики к искусству словесности, это определенный способ размышлять о проблемах времени, а также облекать размышления в формулы: "контакт", "стратегия внимания", "программно-парламентское большинство", и как-то раз даже "параллельная конвергенция". Умение немаловажное, поскольку феномен существует и может быть пущен в оборот лишь с того мо-

х) Манцельштам, "Разговор о Данте".

мента, как для него находится имп.<sup>xx)</sup> Лидер неэффективный и неспособный к реализации своих же идей, проваливший последовательно одну за другой все намеченные реформы — и в таком качестве все ж эпизод демокристического 30-летия, в итальянской истории, стало быть, второй после Муссолини; христианский интеллигент и мыслитель прежде нежале политический деятель — а в вершинном иерархии он вознесен был исключительно силе своего духовного превосходства; посредник по призванию, примиритель *conci. lia toge* согласно старинной итальянской склонности приводить все политические силы и даже доктрины к одному знаменателю; и коварный интриган, вовлекавший в диалог сперва социалистов, потом коммунистов с целью измотать их и обессилить, извратить их политическое тождество: с той же целью, вероятно, он намеревался вовлечь в диалог террористов, Партито армато. Это лишь малая часть оценок и суждений, и все в равной мере правдоподобны, и заметна широта диапазона — единство противоположных свойств, какое столь приличествует мифологическому персонажу. Останется, впрочем, еще две формулы: добавим их, чтобы завершить гуманистический скандал.

Богу Боже, а кесарь кесарю: но это вовсе не значит "угождай нашим и нашим, не лезь на рожон, избегай политических неприятностей, старайся сочетать Бога и Кесаря." Христос разумел обратное: его "а" — союз разделительный, экстремистская дихотомия. Нельзя примирить Бога и кесаря, они противоположны и несовместимы: должны быть в вечной оппозиции к кесарю. — Так сурово толковал эти слова Псет. Криминолог Семерари, узнав о скандальных обстоятельствах смерти Псета, сказал, что именно такой конец ему и полагался по всей мыслимой логике, как естественное завершение его жизни, как единственно возможное следствие его личных

---

xx) Разумеется, это исключает практическую аргументацию на уровне Аустерлица, и даже сотворения цельной идеологической системы не обещает. Грамши именуют теоретиком — но Грамши лишь размышлял в определенной ему одному свойственной манере о Корче, о социальной жизни Неаполя, о Макнавелли, о литературе, о католической церкви и обо всех вещах более или менее познаваемых — и именно эта его единственная в своем обаянии манера сделала впоследствии марксизм возможным.

своиств. Семерари говори с предельной неприманью: что-то вроде "собака собачья смерть"; но тот же смысл получится, если почтительно предположить, что Поэт был космическим явлением, и по этой причине ему на земле не место. Оба суждения утверждают логическую закономерность — Бог, следовательно, не участвует в игре: здесь проявление зла не таково, чтобы в ужасе и отчаянии обвинять Бога, или для восстановления равновесия обратиться к теодицею. Данный случай ниже или выше уровня теодицеи.

В осуществление эстремистской дихотомии быть в вечной оппозиции к кесарю, к любому кесарю, к христианскому, демократическому кесарю: что же делать самому этому христианскому кесарю? Он начинал день со Святого причастия — в политике же был, как писали комментаторы, ланко, наиболее ланко во всей Христианской демократии, обособленным и одиноким ланко в католическом реформизме. Политик, политизировавший все и вся, не делал веру предметом политической игры, потому что вера не принадлежит этому миру, а идеальные ценности слишком хрупки в вихре изменчивой реальности: это нехотели достойным хвалы или хулы — но одинаково выводили логическую неизбежность конца, и именно такого конца. В том видели соответственно устрашающий урок или некую возвышенную символическую, — так или иначе получается некоторым образом "собаке собачья смерть".

На каком уровне начинается теодицея?

— Что же это сделали с Богом, отец мой, — спросил толкователь знакомого священника. — Похоже, Бог в повседневной практике просто мешает, Это хорошо бы задвинуть куда-нибудь за шкаф или хотя бы приспособить: портативный бог, карманный бог, бог со спичечный коробок и наконец уж вовсе неизвестно бог это моя совесть. Он прежде всего всепрощающий, до 77 раз, и разумеется 78-ой простит: И., один из И. и министр внутренних дел, назавтра после 9 мая подал в

отставку, таким образом он принес искупительную жертву, и действительно: почему он один должен был расплачиваться за всех. Но уж если так, то по-настоящему следовало бы ему, сдав дела, застрелиться, или, поскольку католику нельзя, то уйти в монастырь со строгим уставом до конца дней своих и девятого числа каждого месяца подвергать себя бичеванию, в промежутках же делать черную работу, на какую в Европу приглашали турок и африканцев: мыть сортеры, вывозить отбросы и т.д. Отец мой, Бога передавали по подобию и удобству своему, ради общности культурной формации, политического и правового представления о мире, и сколько ещеросло на Нем средне-эстетического, средне-гуманистического мха. Бог не либерал: зачем сделали из Него либеральную пародию?

- Но мы говорили уже, - отвечал священник с мягкостью, тренированной от первого наместника, которому на рогах лезть не приходилось по причине собственного публичного отречения, а также имманентно как институционалисту, - мы соглашались как будто, что ваше представление о Боге несколько неконкретно... и зам утсчитать не очень бы и хотелось, не правда ли? Вам кажется, что так свободней: как дитяти, когда мать уйдет, как школьнику, когда учитель отвернется...

- Нет, я стараюсь. Я помню, что Христос был сын Божий - и вот, разве христианин не должен желать креста? Но крайней мере не уклоняться, если случай представится?

- Да. Должен желать креста. Должен желать свидетельствовать, иначе при всей выдержанности нравственных, культурных, церковных норм это будет христианство без корня, христианство без Христа. Но как надеетесь вы различить крест? Как не ошибетесь в тумане, где многое принимает очертания креста? Острожский у Достоевского бросает кирпич в офицера - это жакда мученичества: но это религиозная безграмотность.

- Пародия...

- Своеволие. Каждый поступок Христа есть для нас пример и предписание, говорил Саронаролла - и вкривь и вкось толковал волю Божью, подменял ее своей.



Священник разумеет церковь, которой одной принадлежит право толкования. Известно, что вне церкви религиозная жизнь грозит безумием, что вера есть вещь взрывоопасная: в этом смысле права была инквизиция, когда искореняла ереси. И где как не в церкви можно научиться правильно расчленять бытие на автономные уровни при сохранении их единства в иерархии, где еще излечиться от склонности к экстремистски-террористическому их противопоставлению, противоположению — и в конце-концов смешению. В изучаемом деле право последнего толкования тоже принадлежит, быть может, церкви — но тогда что будет с теодицеей? Одна из новейших толкует зло как *privatio* блага, замечательной чудовищная литота не хуже парламентского *non fiducia*: Бог если б прочел — смеялся.

#### Страсти по Густаву Малеру

Продолжая разговор с толкователем, музыкант рассказал ему об одной примечательной попытке.

Гениальный композитор и дирижер страстно по свету в ореоле сенсации и сплетни, скандала и обожествления. У него триумфальные гастроли в Америке, и Шаллини, встретив Малера в Метрополитен, замечает: "Бедный Малер, *Malheur!*" Малер исполняет симфонии Бетховена с форсированными ретушами — из профессиональных соображений вполне разумных, потому что выросшая струнная группа оркестра требует компенсации для духовых, в том числе меди, — но вот он выводит на эстраду всю эту разросшуюся струнную группу, чтобы сыграть нечто сугубо камерное, квартет. У него подозрительная гигантомания, он пишет громадные композиции и нарезывает... звучность, в том числе меди, форсируя, до предела напрягая голос, словно себе не веря. Малеру не хватает оркестра, и он начинает тем, чем Бетховен кончил: симфониями с хором. Наконец в 910 году в Вيينе готовится премьера: 8-ая симфония ми бемоль мажор для большого оркестра, двух смешанных хоров, хора мальчиков, трех сопрано, двух альтов, тенора, баритона и баса. Импрессионно анонсирует: "Симфония тысячи!" Барнум и берли!

необычайный успех, рецензенты в похвалах сравнений помнят первое исполнение 9 симфонии, о фильме 9 симфонии напоминают так настойчиво, словно желая внушить публике: друзья и братья, свершился великий духовный подвиг искупления, отныне оправдано наше время, а вместе с временем и мы: создан эквивалент Песни Радости!

Малер написал музыку на латинский католический текст *Dei creator spiritus*, призывный гимн Богу, содержащий между прочим как бы требование справедливости: *Ronde Lumen sensibus*, справедливости и права сравнительно с заупокойным *eterna perpetua lucet et, Domine*: не только мертвым свет, но живым! Господь да просветит нас, живых, хотя бы тех из нас, кто одарен способностью восприятия. И действительно на этих словах в музыке вспыхивает ослепительный свет без сомна, из минора в мажор. Латинь католическая, латинь гимническая, латинь гуманистическая и универсальная... которая тем временем настолько сделалась вещью в себе, что в музыке неотвратимо требовала стилизации. Стилизацию Малер и сотворил — великую, но все же стилизацию. Симфония тысячи есть незаконная попытка литургии в концертном зале.

Музыкант продолжал:

— Зачем понадобилась Малеру латинь? Хвалебный гимн творцу, которого он не раз обвинял музыкально и словесно, цитируя по немецкому переводу Мыцкавича: "И не отец вселенной. Ты — а царь!"<sup>x</sup> Когда реальный слух непоправимо расходится с представлением о Боге, надо или изменить реальность, или обновить свое представление о Боге: последнее трудней то ли потому, что понятие революции дается проще, чем понятие обновления, то ли потому, что операция по диссоциации труднее операции по ассоциации, как установил Келер, изучая интеллект шимпанзе...<sup>xx</sup> Я помню — помните и вы, что токкование музыке словами есть профанация и подмена, в данном случае однако дозволенная, потому что лишь следует примеру автора. Малер-первый в письмах друзьям и близким давал философские объяснения своей музыке. Он был артист — клоун из Вены, интеллектуал с склонностью к рефлексии: хорошо пишет гимны тот, кто их пишет в порыве счастья и благодарности, Малеру же они понадобились из потребности в компенсации. Латинь

для него быка, как последнее отчаянное средство, традиция, как последнее прибежище: Малер был одержим пародией. Он пел монолог св. Антония, знаменитую проповедь рыбам, в ритме скопированного танца с хихикающими трелями; он перерабатывал песенку "Братец Мартин" в похоронный марш — и внезапно в траурное шествие вставлял реплику малого кларнета, шмедего карикатурный тембр, а к нему присоединял скрипичную кантилену в утрированно цыганском стиле. Это был конец прежних почтенных логически-цельных форм и начало фрагментарности как нового композиционного принципа; а где нет более респекта к целому /которое есть не-истинное/, там и Лаксон может быть изображаем с открытым вопиющим ртом. Малер был музыкальный Колумб XX века, открывший, что стигмы Истина, Добро и Красота невозможны иначе, нежели в пародийном воплощении, и что он призван и обращен стать вестником этого несчастья. И хотя стирание обещало новое невиданное богатство выразительных средств, он не радовался, но ужасался. Страсть к издевательствам дошла до предела, и нет предела, еще и еще, пока не вывернется наизнанку — чтоб обернуться патетикой. Малер вряд ли разделял безумные теургические претензии Вагнера или Скрябина, и не то чтоб он думал, что мир спасет Красота: не красота, но иступленная проповедь, по ту сторону этикета, без респекта к себе и без жалости, до забвения чести и достоинства. Мутом надо не прижмнуться, надо всерьез им сделаться, и тогда мут претворится в пророка и предельный позор в Свидетельство. Очевидно, так и только так может быть исполнено загадочное требование "душу свою потерять".

— Дух времени, — насмешливо добавил музыкант, — Малеру не позволяя пойти дальше пародии. А можно сказать, что он сам, будучи гением, сотворил дух своего времени, поскольку имел собственный язык для пародии и не имел для гимна. Одно суждение стоит другого, и оба хуже, априори предполагая существование духа времени. Ученики Малера чуть ли не

---

/со стр. 104/ х) Русское слово "царь" у Мещкевича — нет оскорбления хуже.

xx) По сообщению Ортеги-и-Гассета.

в те же годы продолжили так сказать обратную ретушь, сведя гигантский оркестр к камерному составу и двойные хоры к одному-двум солистам. Но Махер сегодня популярнейший композитор, и разве откажутся когда-либо от попытки всю секулярную жизнь превратить в литургию, в нескончаемую литургию-жизнениг под открытым небом, на площади с обязательной публикой?..

---

---

Говорят: не мерьте количеством, это вульгарно; но как мерить качеством, если больше не умеешь определять его? В иной культуре, в иной традиции, и к этой традиции по крайней мере по рождению принадлежит толкователь, был даже пример и предписание: когда вы испеля в руки врагов ваших — не пробуйте спастись уступками. У вас остались родные на воле — забудьте свою любовь к ним; у вас были друзья — от них не ждите помощи, забудьте надежду и веру. Оборвите все связи с вашим презренным миром. Такой ценой сберегается честь и достоинство, и есть в этом нелегальная истина, а также суровая красота; но с этим едва ли смирится демократическая привычка, по которой попытку надо возобновлять снова и снова. Толкователь видит противоречие: либеральный Бог ему кажется передней, но когда звучат речи стилизованного гуманизма о силе, победившей насилие без того, чтоб самой сделаться насилием, об Афинах во всеоружии разума, свободы, культуры, — толкователь сознает себя во власти этой сомнительной риторики и готов поверить, что все эти чудесные вещи в самом деле существуют, хотя бы в ту минуту как их окликают по имени. Разрешить противоречие толкователь не берет и ограничивается почтительной ссылкой на Блока, который был интеллектурал в Белый клоун и принадлежал к некоему среднедуховноэстетическому миру — но о неприязню принадлежал, потому что тот чего не коснется — все лачкает,

как гарпия, не умея употреблять искусство иначе, как соус к добру и истине, а эти последние у него безнадежно опешелены и деонтологизированы. Влек-долго играл Рыжего, равнял хмель с крестом и с Голгофой трактирную стойку; когда же переменились обстоятельства и случай для креста стал благоприятен, он написал "Русский бред" — предельный случай ненависти, фрагмент народного реквиема, где запрещается, чтобы в похоронах участвовали и шли за гробом все эти функционеры гуманизма и либерал-христиане без Христа.

Демократия есть возобновление попытки: Поэт говорил, что власть мущин продажна, бесчестна, неспособна ни править ни уступить место, что они маски и под масками пустота — ни кучки костей ни горсти праха; но он не уставая обличал их — что ж, он надеялся их убедить и исправить? Не проще ли было, раз навсегда обозначив их отстраняющим "они", повернуться к ним спиной. Прокладите, не видя Бога, упражнять духовное зрение и жить так, как если бы Бог был; так нельзя ли, ежедневно "их" претерпевая, научиться жить так, как если б их не было? Поэт — Белый клоун по классификации Феллини, т.е. учитая против скверного ученика и ангел, забывший грешника, обратил свой гнев против сонма политических рыжих; но в их глазах не был ли сам Поэт экстравагантным рыжим, потому что белые — это они, бремя власти несущие как служение и ответственность перед Богом и людьми, демократы и христиане /иные в сомнениях о реформаторском Соборе христианнейшие рыжего папы Ронкалли/. Среди них про-тагонист из белых белейший /разве что рыжая шутка "управлять Италией не то чтобы трудно, это просто бесполезно", и то не апокриф ли/, на его белой рубашке ни ржавчины коррупции, ни пятна грязи от каких-нибудь скандальных дел, и только во имя идеи... однако ж с уверенностью можно сказать, что те, кто его покарал огненным мячом не символически, а реально, сделали это тоже во имя идеи, причем даже идеи были одни и те же: свобода, демократия, человеческое достоинство. Антагонисты в коммюнике ставили эти слова в саркастические кавычки, но лишь для того чтоб обозначать преступное искажение идеи государством. Они выпрямляли кривду. Не на-

рушить закон они пришли, но исполнить. Они тоже белые, белые, какими бы красными себя не звали, и незачем тащить из колоды вместо бубнового туза пик, так только Стендаль умел играть цветом.

Они в духе служения открыли огонь 16 марта по охранникам, и очевидно находились в состоянии тотальной с макушкой благодати, когда в автомобиле сворачивали с виа Ф. на виа С., и когда писали и искусно подбрасывали коммюнике и фотографии, когда отказывались от выкупа, когда переправляли письма пленника жене и детям, наконец когда его расстреливали и сообщали по телефону его последнюю волю. Тотальная благодать годами осеняла в тюрьме непримиримых, непреклонных *irriducibili*, и не покинула на суде. Пускай черная, пускай дурная благодать — но на противоположном конце ту же черную массу непреклонности, *fermezza* как в зеркале служило государство. "Мы не можем поступить иначе": да, не могли ни те ни другие. Но это лютерово "здесь я стою и не могу иначе", и не христово "да будет воля Твоя", это нечто иное по причине полной деонтологизации. Они не могли поступить иначе, потому что у них не было свободы воли.

Возможно, ее вообще не было — свободы выйти из этикета, из квазилитургического процесса, и не с тем, чтоб немедленно войти в какой-нибудь другой /антагонист/, например, из государства не сумели выйти, а наоборот вошли в него как компонент/, но чтоб оставаться одному. Свободы не было, не звать же свободой мелкие махоты, и это вошло в привычку; в конце концов хорошо ложиться спать, ничего не боясь и ни на что не надеясь, потому что завтра с утра надежды не будет тоже. Кто видел ту гору, которая двинулась по одному слову? Изучаемое дело, как сказано, могло быть чем угодно — трагедией рока или трагедией абсурда. А также профанацией креста: умереть за онтологический аргумент это еще куда ни шло в сравнении с тем, чтобы на смерти сделать пародию на страсти христовы. Но лучше пародия, чем бессмыслица, ведь надо оставаться в контексте христианства, чтобы конкретизировать по совету консультанта свое представ-

ления о Боге; кроме того, в контексте христианства не бывает бессмысленной никакая смерть, даже беспутная рьяная смерть Поэта. Несправедливо будет сказать, что героя настоящего трактата погубила всеобщая глухота и непонимание: в определенном и мучительном усилии его старались понять, и его понимали — до какого-то момента. До сих пор — не дальше. Первым, как водится, отказало привычно-логическое мышление, не осилившее уже первых писем. Артистическое мышление прошло еще часть пути, но и тут помешала злосчастная инерция стиля, контаминация Истины, Добра и Красоты, и к 25-му апреля исчерпались возможности артистического мышления. С каждым часом уменьшалось число спутников — пожалуй, больше всех оставался с героем Первый евангелист <sup>х)</sup>, он приписал всем несоответствиям и несовместимостям обратный смысл и такой ценой сумел его оправдать; но даже в таком виде это материал для прокурора, и напрасно защита на него претендует.

В час ноль приходит, видимо, черед христианского мышления: если не теперь, то когда же? Оно пойдет до конца — и дальше конца, чтобы не было конца. Никто не ждал от прогониста писем, вот этих писем, и их действительно не должно было быть. Он был не пророк, и не безумец, а просто политик и университетский профессор, и та же пародийная литургия им правила — должна была править; в таких обстоятельствах возможность свободы становится чудом страшней, чем остановившееся солнце: свобода кинула горюхи.

В этом Свидетельство; а также созданный в безмерном одиночестве новый христианский этикет. Если Бог непознаваем, остается только складывать о нем представления, различные модели Бога, и обновлять их по мере необходимости. В этом процессе Бог не пассивен, напротив, он указывает время и место внятно и достаточно внушительно. Если Бог оказался непохож на привычное представление — значит, более недействительна прежняя модель, т.е. Бог-либерал, Бог-лжоты. Христианство, очевидно, каким-то образом изменилось,

---

х) Толкователь, в сущности, следует за Первым евангелистом по пути им проложенному, и во многом его повторяет; некоторые отклонения оговорены.

и удержаться в его контексте совсем не просто.

Римское Свидетельство-78 имеет вид пародии — другого, следовательно, и не может иметь. По требованию этикета оно немедленно должно было быть отчуждено и опечатано, потому что иначе не было бы услышано, потому что иначе нельзя было его пустить в оборот и сделать всеобщим достоянием. Впрочем, разве это не материал для мифа?

Вот толкование, надо признаться, весьма кривое и ко-  
сое и неуважительное. Место ему найдется в музее среди экс-  
понатов вроде замыганной красной Рено, — и шарфа Франческо  
Пипарно /там же проба канадского воздуха в пробирке/, и  
голосов собеседников в диалоге с подтекстом, который есть  
сборное подозрение и страх попасть в ловушку; и еще пере-  
хваченное на 40 плюс 15 дней дыхание; а также ясность ра-  
зума и свобода духа. Далее, текст полемической молитвы,  
прочитанной в церкви 16 мая 78 года:

— О тех, кто замыслил, о тех, кто совершил это злоде-  
яние и о всех к тому причастных — Господу помолимся.

— Кирре элексон, — отвечает хор.

— О тех, кто из страха, из зависти, из подлости и по  
глупости утвердил смертный приговор невиновному — Господу  
помолимся.

— Господи помилуй.

— Обо мне и моих детях: гнев и отчаяние, ныне нами  
владущие, соделай, Господи, слезами прощения.

Всобщее все тексты, все до последней строчки должны  
храниться в музее, доказана или нет их аутентичность. А  
также обе фотографии работы антагонистов и третья репортер-  
ская, она была бы финальной, но эта история никак не хоте-  
ла кончиться, и когда произошло, казалось бы, все что могло  
произойти, оно все-таки продолжало происходить. По прави-  
лам судебно-медицинской экспертизы жертву преступления фо-  
тографируют непосредственно перед тем как за работу берет-  
ся прозектор, и эта сверхсекретная и сверхкандавальная фото-  
графия около года спустя попала в газеты.

Еще надо наладить освещение. Существует итальянская  
литературная традиция светлячка от Данте /если не раньше/



в 26 песни "Ада", от стихов Микельэнджео и далее до Пирранделло и Малапарте, до Поэта и Первого евангелиста. Такое настойчивое повторение не случайно, светлячок, следовательно, не просто деталь пейзажа и не повод к экологической дискуссии, но некий лейтмотив, стержень же — принадлежность будущего мира. У Поэта светлячок, превращенный в мифологическую гиперболу, светит за весь Монтэдисон; здесь довольно будет одного живого светлячка *luciola* в натуральную величину. Зачем эйфория вместо катарсиса, и протагонисту пора дать покой, но навеки же он осужден и проклят читать газетные заголовки "Республика не уступит!" и писать и переписывать: "Дорогой Н., не минуты остаются уже — секунды, заклинаю тебя, сделай все что можешь, и чтобы это было дано, а не декламация..."

... В 77 году Н., один из Н., был заподозрен и позже обвинен в более или менее сенсационном мошенничестве. Честь партии была запятвана; впрочем, корить Христианскую демократию коррупцией — прием банальный и печальный. В атмосфере скандала президент партии, герой настоящего романа, произнес в парламенте *oratio pro N.* : впечатление было внушительное, но предполагали, что сам оратор в невиновность Н. не вполне верит и лишь из чувства долга защищает партию всей силой своего авторитета и безупречной репутации. Толкователь счастливи сообщит: в 79 году Н. был по суду оправдан. Собралась ликующая толпа, кто-то из репортеров заметил, что вот и опять вся Христианская демократия ридает, на сей раз от радости, что ее лицо, по крайней мере одна щека очистилась от моральной проказы. Разумеется, сказал другой, это известная схема *Tod und Verklärung*, но поскольку обычно не удается *gegänge*, пустить в оборот не свою *Tod* для своего *Verklärung*, то партии все-таки необходимо обновление. Но как? Левые католики вряд ли за это возьмутся, скорее уж технократическая правая заговорит непрерываемым тоном...

— Ей было бы полезно, — сказал третий, — был бы показан феномен правого терроризма, не просто правого, но правокатолического, чтобы заставить ее определиться по противоположности, указать ей ее предел справа, — подобную услугу Партия армато слева оказала коммунистам.

Толкователю почудилась знакомая интонация, как если бы его консультант-философ, воплотивший свою мечту, предстал перед ним в облике европейского мелкого журналиста. Впрочем, этот хотя и играл в игру "чем хуже, тем лучше", но по-итальянски говорил без акцента.

- Вам хочется нового сближения, - спросил первый, - катокоммунизма?.. x)

Появился Н., и репортеры бросились к нему. Н. казался усталым, но терпеливо отвечал на вопросы. Ему дали руки и осыпали цветами; наконец последним подошел его поздравитель-толкователь. Толпа начинала расходиться, и Н. попросил помочь подобрать цветы: его ожидал автомобиль, и он сообщил доверительно, что спешит исполнить долг благодарности в отношении своего славного защитника, *Dio l'abbia in gloria!* Цветы разместили на заднем сиденье, машина тронулась. Толкователь хотел было бросить вслед реплику - тут кто-то положил ему руку на плечо. Он обернулся и увидел знакомого священника.

- Я знаю, в конце концов вы все-таки окажетесь умней меня, - сказал толкователь. - Отец мой, Ваше Святейшество, Томас Стернс Элиот, не согласитесь ли вы снова поговорить со мной о вере, которая не принадлежит этому миру, и о хрупкости идеальных ценностей, ввергаемых в реальность этого мира?

---

x) Бокка, автор термина, разумел, что в Италии нужно быть или католиком, или коммунистом - и неизмеримо трудно, почти невозможно не быть ни тем ни другим. Катокоммунизм в форму-связи был бы, следовательно, окончательным тотальным кошмаром. Но такой опасности не предвидется, и диалоговая более не популярна. Обе партии на сближении потеряли - не выигрывают ли на поляризации? Роль посредника, традиционная для Христианской демократии, может перейти к социалистам.